

Теодор МУНДТ

ГРАФ МИРАБО



Теодор Мундт

Граф Мирабо

Серия «Серия исторических романов»

Издательский EPUB

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19206035

Граф Мирабо: Вече; М.; 2016

Аннотация

1784 год. Во Франции мода на вольнодумство, прически с капустой и репой на голове, увлечение животным магнетизмом Месмера и жажда развлечений. Этьенн Монгольфье вместе с братом собирается запустить воздушный шар, «ковчег будущего», подивиться на который приходят король, королева и все их бесчисленное окружение.

Присутствует на этом знаменательном событии и молодой граф Мирабо. Он называет Месмера шарлатаном, считая главным магнетизмом человека личную силу воли.

Ветреный сын своей эпохи Мирабо жил неудержимо и азартно. Бесконечные конфликты с отцом, неудачный брак, дуэли, заточение в замке Иф, бегство с чужой женой и смертный приговор, замененный новым тюремным заключением, помилование и возвращение в Париж. Здесь, в этом рассаднике вольнодумства, Мирабо ждут новые увлечения и страстные мысли

о свободе, равенстве, братстве, которые воплотятся в жизнь и ее же отнимут.

Содержание

Об авторе	6
Часть первая	9
I. Друзья в Отейле	9
II. Собака Мирабо и кошка Гельвециуса	44
III. Генриетта Гарен	76
IV. Мирабо и Генриетта	93
V. Таинственное дитя	102
VI. Госпожа Нэра	121
VII. «Свадьба Фигаро»	138
VIII. Прогулка по Лондону	152
Конец ознакомительного фрагмента.	162

Теодор Мундт Граф Мирабо

Текст печатается по изданию: Т. Мундт. Граф Мирабо.
СПб., 1899

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Об авторе

Теодор Мундт, немецкий писатель и журналист, родился в Потсдаме 19 сентября 1808 года. Окончив гимназию, поступил в университет, где изучал философию и филологию. Молодой человек отличался весьма прогрессивными взглядами на устройство общества, а это закрывало перед ним возможность успешной академической карьеры в прусском государстве. Тогда Теодор решил посвятить себя журналистике и литературе. Он стал сначала редактором, а потом и издателем газет литературного направления.

В своей журналистской деятельности Теодор Мундт постоянно конфликтовал с монархической прусской цензурой. Вскоре он стал одним из ведущих авторов демократического движения «Молодая Германия». Мундт поочередно издавал такие журналы, как «Литературный Зодиак» (1835), «Диоскуры» (1836–1837) и прочие. Одновременно он начинает писать романы, преимущественно исторические, и бытовые повести. Первыми романами, получившими популярность, были «Дуэт» (1831) и «Мадонна» (1835). В 1841 году вышел лучший, как полагают, его исторический роман «Томас Мюнцер».

В 1839 году в жизни Теодора Мундта произошло важное событие: он женился на писательнице Кларе Мюллер, которая впоследствии также стала широко известна своими ис-

торическими романами, которые она публиковала под псевдонимом Луиза Мюльбах.

С 1842 года Мундт преподает историю и литературу в Берлинском университете, но после революционных событий 1848 года вынужден оставить университет. Он возвращается в это престижное учебное заведение в 1850 году, но уже в должности библиотекаря. Правда, и на этом посту Теодор Мундт остается недолго: из-за разногласий с профессором Георгом Пертцом ему пришлось преждевременно выйти на пенсию. Кое-какие средства на жизнь, таким образом, у Теодора были, и он смог спокойно заниматься литературной деятельностью.

Писал Мундт в основном критические статьи, а также работы по эстетике и истории литературы. К основным произведениям этого жанра относятся: «История современной литературы от 1789 года до новейших времен» (2-е издание – 1853 г.), «Драматургия, или Теория и история драматического искусства» (1847–1848 гг., в 2 т.), «Эстетика» (1845). К этому надо добавить книгу путевых очерков «Итальянские порядки» (1859–1860). К обстоятельным штудиям, с внимательной проработкой исторических материалов, стоит добавить и ряд романов, преимущественно на российскую тематику: «Царь Павел I», «Неразгаданный монарх», «Тихий ангел (Из жизни Натальи Алексеевны, супруги великого князя Павла Петровича)».

Исторические романы Т. Мундта характеризует прежде

всего великолепное знание исторической канвы изображаемой эпохи, фактической стороны сюжета. Разумеется, надо делать скидку на открывшиеся уже в прошлом столетии обстоятельства. Среди других произведений на историческую тематику можно особо выделить (из переведенных на русский язык) трилогию о прусском короле Иосифе II – «Самозванец», «Около плахи», «Гренадеры императрицы» и роман из эпохи французской революции – «Граф Мирабо».

В России Мундт был известен на рубеже XIX–XX веков. К этому времени относится большинство первых изданий переводов его романов. Историко-литературные и критические работы писателя, насколько известно, на русский язык не переводились. Умер Теодор Мундт в Берлине 30 ноября 1861 года.

Анатолий МОСКВИН

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОТЕКА ТЕОДОРА МУНДТА:

«Томас Мюнцер» (Thomas Münzer, 1841)

«Матадоры» (Die Matadore, 1850)

«Граф Мирабо» (Graf Mirabeau, 1858)

«Калиостро в Петербурге» (Cagliostro in Petersburg, 1858)

«Робеспьер» (Robespierre, 1859)

«Царь Павел I» (Czar Paul, 1861)

Часть первая

I. Друзья в Отейле

В начале Булонского леса, на расстоянии не более одной мили от Парижа, лежит прелестный Отейль со знаменитой виллой, когда-то принадлежавшей писателю Буало, в которой и при последующих владельцах, одним из которых был доктор Жандрон, всегда проживали самые известные и блестящие умы Франции.

В настоящее время жила в ней уже тринадцать лет одна из милейших французских женщин, госпожа Гельвециус, купившая виллу после смерти своего мужа, знаменитого философа и свободного мыслителя, и устроившая в ней, с присущим ей вкусом, место, где собирались ее друзья, а также все, кто считался в то время в Париже, в известном смысле, личностями значительными и выдающимися.

В этой с виду не блестящей и совершенно по-деревенски устроенной вилле, под легким и прелестным скипетром женщины, все господство которой выражалось в искусстве насаждать между всеми свободу и доверие, образовался самый интересный, самый жизненный, но, в глазах правительства, самый опасный круг общества.

Со времени салона госпожи Жофрэн в Париже, в кото-

ром в течение почти столетия собирались все великие умы, отечественные и иностранные, не было во Франции такого значительного общественного круга, какой образовался у госпожи Гельвециус в Отейле. Здесь стоял еще воздвигнутым алтарь идей, посеянных Клодом Адрианом Гельвециусом¹ в его книге «Об уме», настроившей против себя одинаково сильно духовенство и парламент и публично сожженной палачом. И друзья Гельвециуса, которые, как, например, Дидро и барон Гольбах, были отчасти его сотрудниками по этому творению, остались преданными дому, где его вдова с любовью и верностью хранила память о нем и его книге. Сюда же присоединились более юные силы: маркиз Кондорсэ, милейший, сверкающий умом и остроумием Шамфор, затем доктор и философ Кабанис, с некоторых пор сам поселившийся в Отейле, и, наконец, с недавнего времени граф Габриель Рикетти де Мирабо, новая, введенная в этот кружок Шамфором личность, на которую свободомыслящие передовые люди отейльской виллы возлагали большие надежды.

Этот деревенский салон, где часто с шумом обсуждались вещи, крайне подозрительные для Версаля, казался совершенно невинным, благодаря личности самой госпожи Гельвециус. Веселость, изящество и ум соединялись в ней с детской добротой, ежеминутно дававшей себя чувствовать в смягчающем, примиряющем влиянии на все, что происхо-

¹ К.А. Гельвециус (Гельвеций) (1715–1771) – французский литератор и философ-материалист.

дило вокруг нее.

Ее необыкновенная красота в молодости не исчезла еще и в поздние годы. Большие выразительные глаза, на ком бы они с улыбкой ни останавливались, неотразимо влекли к себе каждого. И если Элиза Гельвециус появлялась иногда, как светлый гений, и, руководя разговорами в своем салоне, уверяла всех и каждого, что скоро должно совершиться нечто новое и великое, что спасет французский народ и освободит его от губельного состояния и вырождения, то вслед за этим опять, как тонкий и насмешливый дух своего кружка, она легкой шуткой или остротами умела рассеять слишком тягостное настроение или смягчить явную горечь в спорах.

Стройная и величественная, госпожа Гельвециус как своей внешностью, так и манерами не давала забывать о ее высоком аристократическом происхождении. Однако обращение этой аристократки, невольно напоминавшее, что она была дочерью графа Линевиля, соединялось с особой, ей лишь свойственной простотой и любовью к деревенской жизни и деревенским занятиям.

Свой философский салон в отейльской вилле она устроила как бы на фоне сельской фермы, которой усердно занималась и содержала образцово. Особенно заботилась госпожа Гельвециус о своем птичнике, где ежедневно проводила по несколько часов в возне с курами, утками, гусями и множеством всевозможных птиц; наибольшее удивление возбуждали уход и дрессировка чижигов. Дорогие певчие птицы в

красивых клетках были развешаны по наружным стенам дома и часто звучно и шумно вступали в разговор друзей. Не было на этой необыкновенной даче недостатка и в собаках и кошках; последние в особенности принадлежали вместе с птицами к любимцам хозяйки и были всевозможных пород.

Полная гармония и согласие, господствовавшие в царстве госпожи Гельвециус, несмотря на разнообразие животных, приписывались ее почитателями тому очарованию, с которым эта милая женщина управляла всем, что ей принадлежало.

Сегодня госпожа Гельвециус покинула ранее обыкновенного свои любимые занятия с животными, которым посвящала всегда часть утра. Нужно было заняться приготовлениями к приему гостей, ожидаемых в отейльской вилле к обеду. Два особых торжественных повода побудили госпожу Гельвециус сделать эти приглашения. Сегодня должен был обедать у своей старой приятельницы, с которой он уже давно был в самых сердечных отношениях, доктор Бенджамин Франклин, чему весь кружок радовался, тем более что вследствие шумных чествований и приглашений, которыми его забрасывали со времени его вторичного прибытия в Париж, Франклин сделался редкостью даже для кружка самых близких друзей. Великий договор свободы и независимости, обосновавший самостоятельность и независимость Североамериканских Соединенных Штатов и предварительные условия которого были в прошлом, 1783 году, подписаны

в Париже Франклином – в качестве полномочного министра своего отечества, – и представителем Англии, был брошен в жизнь Парижа, как горящая искра. На каждом шагу виделись тому самые сильные доказательства, и сделалось настоящей модой осыпать почтенного старца Франклина чествованиями и отличиями.

А потому и госпожа Гельвециус с большим трудом обеспечила за собой на сегодня его присутствие; выбор же для этого именно сегодняшнего дня имел еще особое основание, не столько из политических видов, сколько из ее милого кокетства.

Сегодня праздновала она свой пятьдесят шестой день рождения и хотела это почтенное число своих лет довести в особенности до сведения Франклина, которого дружба с ней довела до того, что он просил ее руки; маленькой хитростью хотела она заставить его отпраздновать этот день с ней вместе, чтобы объяснить ему свой возраст, столь мало подходящий для вступления в брак.

Доктор Франклин, вступивший теперь в семьдесят восьмой год жизни, восемь лет тому назад, приехав в первый раз в Париж для переговоров о признании Францией независимости Североамериканских Соединенных Штатов, просил руки прелестной вдовы Гельвециуса. Но Элиза уже тогда чистосердечно ответила, что не пойдет за него замуж, и теперь, хотя их взаимная дружба и расположение лишь усилились с тех пор, она опять с той же твердостью повторила свой отказ.

В первый раз Франклин старался получить эту дорогую руку в одно время с Тюрго, бывшим министром Людовика XVI, а теперь, когда несколько лет тому назад смерть удалила его великого соперника, он, этот живой, светлый старец, вновь прибыл в Париж к своей любви.

Госпожа Гельвециус, при всем своем желании не скрывать своих пятидесяти шести лет, не могла, однако, отказаться от одной интересной новинки в своем туалете, которым вообще она стала заниматься в последнее время. Именно сегодня, когда она намеревалась отпугнуть своего старого обожателя, ей вздумалось украсить новую прическу, введенной недавно в моду молодой королевой Марией-Антуанеттой.

До сих пор госпожа Гельвециус верно следовала модам регентства, а так как при этом она была мила и привлекательна, то и годами не думала им изменять. Она была неотразимо прелестна с золотой пудрой на прекрасных белокурых волосах, никогда почти не уменьшала размера фижм и не могла отказаться от маленьких мушек с бриллиантами.

Сегодня же, ради шутки, она совершенно изменила прическу, а с нею вместе и весь свой туалет. Это была прическа *à la jardinière*², необыкновенно придуманная и устроенная знаменитым парикмахером королевы господином Леонаром. Состояла она в высоко взбитом головном уборе, сделанном из искусно сложенной и навернутой салфетки, обвитой и наполненной всякого рода зеленью: маленьким артишоком, го-

² Жардиньерка, корзинка садовницы (*фр.*).

ловкой капусты, хорошенькой морковью, репкой и др.

Окончив с помощью камеристки это нововведение в своем туалете, госпожа Гельвециус, громко смеясь, стала перед зеркалом рассматривать происшедшую с ней перемену, на которую, впрочем, не находила причины гневаться. Напротив, новая прическа, казалось, очень шла к ней. Она начала своей искусною рукой ее поправлять, когда вошел слуга и доложил, что некоторые из ожидаемых гостей вошли уже в переднюю.

Это были Кабанис и Шамфор, поспешившие прийти первыми в салон своей приятельницы и принятые ею с особенным радушием.

— Мы, по праву доброго соседства, не стыдимся быть точными! — начал Шамфор, подходя к ней и почтительно целуя протянутую ему белую, маленькую ручку.

— Напротив, господа, — возразила госпожа Гельвециус со своей очаровательной улыбкой, — я вовсе не нахожу, что вы живете тут, как добрые соседи и верные друзья. Я воображала, что вы оба поселились в нашем Отейле, чтобы можно было пользоваться вашим милым обществом ежедневно и ежедневно. Если же, как сегодня, я приглашаю вас торжественно к обеду, то неужели вы считаете, что можете не появляться к нашему дружескому завтраку? Хорошо ли это? Конечно, милого доктора Кабаниса надо простить, потому что с тех пор, как он практикует в Отейле, он не может освободиться от больных, хотя ему и следовало бы помнить, что я то-

же принадлежу к его больным. Почему же, господин лейб-медик, вы еще не навестили меня сегодня?

С этими словами она подошла к молодому человеку, стоявшему в мечтательной небрежной позе в глубине комнаты, и, взяв его за руку, притащила к креслу, сев сама напротив и указав Шамфору на стул возле себя.

Кабанис был молодой человек, лет двадцать семи, казавшийся еще моложе благодаря тонкому и стройному сложению и своему нежному, будто прозрачному, выражению лица. Все его существо выражало как бы страдание, отчасти вследствие чрезмерно усиленных занятий последнего времени, отчасти же бывшее отпечатком поглощавших его философствований.

Совершенную противоположность составлял друг его, Шамфор, человек лет сорока двух, здоровый и сильный. Он был поразительно красивой наружности; правильные и тонкие черты его выражали ум и приветливость, а вместе и главную черту характера — неотразимую мягкость и кротость. Однако лицо его могло вдруг резко измениться и принимало тогда будто свое обычное выражение неприятного, капризного настроения, при котором он, как молнией, метал своими остротами.

Одет был Шамфор по обыкновению несколько небрежно; даже свежесть белья могла бы быть более безукоризненной. И сегодняшнее особое приглашение не нарушило той небрежности, которую он приписывал своему недостат-

ку в желании нравиться и равнодушию к обществу. Напротив того, Кабанис, вообще тщательно следивший за своим туалетом, сегодня особенно постарался почтить элегантностью приглашение своей приятельницы.

– Действительно, – сказал Кабанис с тонкой грустной улыбкой, – все утро сегодня я был занят больной. Врач, начинающий свою практику, как я, в маленьком Отейле, должен дорого ценить, если какая-нибудь бедная женщина вздумает получить воспаление, и если он может, ухаживая за ней, дать поесть ее бедным детям, которые кричат и просят хлеба.

– Да, это правда, наш друг Кабанис должен здесь начинать практику с одними только воспаленными бедными людьми, – заметил Шамфор с сарказмом. – И в этом отношении он настоящее дитя своего времени, ибо практика с воспаленными бедными людьми скоро будет главным занятием во всем мире, а в особенности в нашей, с ее голодающим населением, Франции.

– Скажите мне лучше, Шамфор, где вы пропадали сегодня, – возразила госпожа Гельвециус, дружески смотря на него. – Если же вы никакого удовлетворительного извинения привести не можете, то следует предположить, что вы хотите нарушить торжественно заключенный со мной договор. Вы переехали в Отейль с тем, чтобы быть моим гостем и моим полным пансионером, и это вы обещали со всеми клятвами дружбы. Только квартиры я не могла вам предоставить в моей тесной вилле, и это к счастью для вас; иначе кончилось

бы тем, что я держала бы вас, как своего пленника, так как я с завистью отношусь к каждому часу, который вы проводите не у меня.

В глазах Шамфора блеснул луч глубокой благодарности к ней, и черты его приняли на минуту мягкое и сердечное выражение. Но сейчас же голос его зазвучал легкомысленно:

– Я не мог прийти сегодня, потому что был занят делами двора, Версальского двора, да, да, блестящего двора наихристианнейших величеств, короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты. Подобно тому, как мой друг Кабанис работал для воспаленных бедных людей, так я все утро работал для двора. Этьенн Монгольфье был у меня, и я помогал ему в приготовлениях для его воздушного шара – этого нового чудоизобретения, который, по особому повелению их величеств, будет сегодня пущен им в Отейле. Весь двор прибывает сегодня сюда пополудни, чтобы в третий раз восхититься удивительным зрелищем; он не может достаточно надивиться, что есть вещь, которая сама собой может подняться вверх. При дворе невозможно подняться, если не начинен предками и интригами, а воздушная машина Монгольфье совершенно просто доказывает им, что нужно быть наполненным одним лишь воздухом, чтобы подняться гораздо выше, до самых облаков. Этот добрый, любящий зрелища двор не подозревает, что шар Монгольфье есть лишь предвестник той вещи, которая в один прекрасный день сама по себе и своими силами поднимется до небес и потребует своего гос-

подства над лежащей под ним землей. Я подразумеваю народ. Не походит ли он уже теперь на наполненный шар, который своею собственною движущею силою начинает дрожать и взлетит, как только услышит поданный ему сигнал? Этими мыслями был я поглощен, помогая сегодня утром моему другу Монгольфье приспособить его машину для нового воздушного путешествия. Говорят, что герцог Шартрский изволит тоже подняться в нем на воздух. Итак, не прав ли я, дорогой друг, оправдываясь тем, что я работал сегодня в интересах двора? Монгольфье прибудет тоже сюда, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение и предложить вам и всему вашему обществу места для зрелища.

– Возможно ли? – воскликнула госпожа Гельвециус, с удивлением всплеснув руками. – Что за необычайные новости я вдруг узнаю от вас? И все это может происходить в этом маленьком, насквозь, как фонарь, видимом Отейле, без моего ведома? Право, я здесь, в моей вилле, точно пустынный в своей лесной хижине, чувствую себя страшно покинутой и от всех и всего отрезанной!

– А я, взглянув на эту новую модную прическу, осмелился предположить совсем противное! – воскликнул Шамфор, галантно указывая рукой на головной убор госпожи Гельвециус и почтительно кланяясь. – Я думал, что наш прелестный друг и со своей стороны сделал приготовления к тому, чтобы при сегодняшнем посещении двора представить наш Отейль в праздничном виде. Ведь этот наряд прекрасной

вдовы нашего великого вольнодумца Гельвециуса не более и не менее как уступка придворной моде. Однако я должен сказать, сударыня, что новый убор удивительно идет вам и самым изящным образом символизирует вашу вечно юную прелесть. Госпожа Гельвециус может смело носить на своей прекрасной голове зеленую капусту и репу, потому что госпожа Гельвециус представительница чистой и благородной природы, а муж ее писал «об уме»; ум же всегда должен существовать, как сопротивление природе. При нынешнем же Версальском дворе нет ни природы, ни ума, и овощи, которыми теперь кокетничают гордые головы, действуют...

– Вы слишком злой насмешник, Шамфор, – перебила госпожа Гельвециус с некоторой горячностью. – Можно ли все обращать в политику, даже невинные дамские наряды? То ли дело мой кроткий друг Кабанис! Он еще ни разу не побранил меня за мою прическу и, вероятно, находит вполне подходящим, что деревенская жительница, как я, предпочитает украшать свою голову свежей зеленью, чем громадными напудренными локонами.

– Я готов оценить новый убор нашего друга в его наилучшем значении! – воскликнул Кабанис, бледные щеки которого на минуту оживились улыбкой. – Я вижу символ нового лучшего времени, свободы и равенства в том, что моды в отейльской вилле философов начинают сравниваться с модами версальскими. Уже то, что сегодня двор намерен прибыть в Отейль, указывает на необыкновенные призна-

ки времени. Кто слышал, чтобы король и королева посещали Отейль, место, ни разу еще не тронутое этикетом и с тех пор, как мы, люди просвещения, поселились в нем, пользующееся самой дурной славой у наших повелителей? И вот, как бы в подкрепление этого нового союза между Отейлем и Версалем, председательница нашего кружка присвоила себе прическу королевы Марии-Антуанетты. Это имеет, вероятно, таинственное значение и, не будь передо мной чудных, искренних глаз госпожи Гельвециус, я бы подумал, что тут наметилась измена, и что «свободное общество эгоистов», как называют наш дружеский кружок в Отейле, предается в руки наших врагов!

Госпожа Гельвециус, на которую при ее естественной веселости всякая шутка легко действовала, искренно захохотала при этих словах, а с нею вместе и оба друга. Трудно было не заразиться ее смехом, в котором слышались юношеская веселость и чистосердечие, как у молодой девушки.

– Это очень удачно! – сказала она, продолжая смеяться. – Как видно, ипохондрия доктора Кабаниса исчезает под влиянием отейльского здорового воздуха.

– Однако я действительно должна признаться, – продолжала она, сделавшись опять серьезной, – что с каждым днем становлюсь более искренним другом королевы. Меня привлекает та прелесть простоты, которая проявляется во всем, что приходится о ней слышать. Она, несомненно, прекрасная, благородная душа, желающая добра всем, и если ее вли-

ание овладеет королем, то это направит его на путь спасения и приведет в объятия народа. И не представляется ли уже Мария-Антуанетта передовым бойцом нового времени, затеяв при дворе борьбу против этикета и победив его своей цветущей молодостью и естественной прелестью? И разве она не нанесла первого удара французскому придворному дворянству, в котором настоящая испорченность общества издавна пустила корни? Даже то, что сегодня двор прибывает в такое место, как Отейль, должно, в сущности, считаться новой победой, одержанной королевой над старой придворной партией. Она хочет придать двору более свободное, непринужденное движение, освободить его постепенно от предрассудков, в которых он оцепенел и которые строго отделяют его от народа и народной жизни. Вместе с тем она благодетельна, добра и готова прийти каждому на помощь; всякому новому предприятию она желала бы успеха, и сам господин Этьен Монгольфье пенсией, получаемой им от двора за свое изобретенье, обязан единственно ходатайству королевы.

– Самый же свежий пример любезности королевы относительно передовых умов нынешнего времени – это я! – с особым ударением начал Шамфор. – Моя трагедия «Мустафа и Зеанжир», представленная несколько недель тому назад в придворном театре в Фонтэнбло, так понравилась королеве, что она назначила сочинителю ежегодную пенсию в тысячу двести франков. Я этого не искал, но подумал, что такой знак милости прекрасной королевы мне не следует от-

вергать. Узнал я об этом неожиданном счастье лишь сегодня утром, но в Париже все об этом знали уже вчера. Я скрыл от вас, что вчера моя трагедия шла в первый раз для большой публики в Theatre francais, потому что иначе вы бы мне покоя не дали, чтобы ехать со мной в Париж. А насколько основательным было мое инстинктивное опасение, вы можете заключить из того, что моя пьеса совсем провалилась вчера в этом театре. Под конец стали барабанить и свистеть, как если бы страшный суд хотел обрушиться на автора. Это печальное известие было мною получено с нарочным сегодня утром. Думаю, что «Мустафа и Зеанжир» не провалилась бы, если бы раньше не имела такого успеха при дворе. В Париже наказали автора и его пьесу за то удовольствие, которое получила королева, потому что там оппозиционное настроение, в особенности против нее, все усиливается: что только отмечено Марией-Антуанеттой, то публика считает своей обязанностью осудить. И вот я сижу с моей пенсией в тысяча двести франков на развалинах моей единственной трагедии, первой и последней. А между тем она стоила больше, чем мои комедии, в особенности «Молодая индианка» и «Смирнский купец», желающие, как видно, удержаться на сцене, несмотря на свои ничтожные достоинства. Но в «Мустафе и Зеанжире» я, подражая Расину, надел маску, с которой мое внутреннее «я» не согласовалось.

Народ, ставший теперь умным, как черт, сорвал с меня маску, бросил мне ее в лицо, оставив мне единственное удо-

влетворение – бренчать моими тысяча двумястами франками в кармане. И разве не поделом мне это?

В эту минуту разговор прервался, к крыльцу подъехал экипаж, и госпожа Гельвециус поспешила к окну посмотреть, кто прибыл из ее гостей.

– Право же, в экипаже сидит мой старый Франклин! – воскликнула госпожа Гельвециус радостно. – А тот, кто рядом с ним, это маркиз Кондорсэ, наш «снегом покрытый вулкан», как его называл всегда друг д’Аламбер. Напротив них – граф Мирабо. Он выскакивает и с нежной заботливостью сына хочет помочь доктору Франклину выйти из экипажа. Старик, однако, упрямо отклоняет всякую помощь, гордясь еще молодостью своих семидесятисемилетних ног, которыми он, точно американский буйвол на свободе, топчет отейльскую почву. Смотрите, как он прямо и твердо выступает, мой старый Бенджамин!

И она, не сдерживая более своего нетерпения, поспешила на крыльцо приветствовать прибывших; Шамфор и Кабанис следовали за нею.

С радостным возгласом вошел Франклин в дом и тут же, увидя свою приятельницу, сердечно заключил ее в объятия. Однако объятие продолжалось так долго, что госпожа Гельвециус с шутливой досадой освободилась, оттолкнув Франклина от себя рукой, и обратилась с милым и любезным приветствием к Кондорсэ и Мирабо.

– Вижу, что я у моего старого друга Элизы уже не та-

кой желанный гость, как бывало прежде, — сказал Франклин, смеясь, в то время как все общество входило в гостиную. — Даже ради праздника нового свидания я не смею прижать ее к сердцу без того, чтобы она с силой не оттолкнула меня. Мне следует еще извиниться, что я появился к обеду в ките-ле американского крестьянина; но так как Версальский двор принимал меня в этом мною усвоенным костюме, то я полагал, что и госпожа Гельвециус радушно примет меня в нем.

При этом Франклин с некоторым самодовольством указал на свой костюм, в котором появлялся повсюду. Он состоял из простого суконного сюртука коричневого цвета, сделавшегося уже известным в Париже, и которому гладкие, белые, как серебро, волосы без всякой пудры и круглая с широкими полями шляпа придавали совсем особый отпечаток. Это было одеяние американского плантатора, совсем новое и чуждое в Париже и резко отличавшееся при дворе от вышитых и сверкающих золотом одеяний, равно как от напудренных и надушенных куафюр придворных. Новинка эта пользовалась необыкновенным успехом, очаровывая в особенности парижских дам, которые на всех блестящих празднествах, даваемых в честь американского философа и апостола свободы, самым любезным и кокетливым образом ухаживали за ним.

Однако госпожа Гельвециус так долго смотрела на него своими прекрасными глазами, что Франклин должен был убедиться, что он по-прежнему занимает в сердце своей при-

ательницы старое и прочное место. Она поспешила сама ему снять шляпу и с нежной лаской надеть, взамен ее, кожаную шапочку, которую он всегда носил. Затем довела его до великолепного, стоящего у камина кресла, приготовленного, как видно, нарочно к его торжественному приему и увешанного свежими розами и лавровыми венками.

Франклин был красивый старец, с редкой правильностью и чистотой очертаний удивительной свежести и ясности. Простота его представляла трогательное благородство. Неотразимая пластическая прелесть его головы нарушалась лишь большими очками, которые Франклин никогда не снимал, но которые вместе с тем усиливали выражение глубокомыслия на лице благородного старца.

– Едва ли где-либо на свете мне так хорошо, как здесь в Отейле, у вас, моя дорогая Элиза! – начал Франклин, озираясь с удовольствием. – Здесь – мир, радость и свобода! Право, если бы мне не нужно было возвращаться в Филадельфию, куда зовут меня государственные дела вновь народившегося отечества, то я охотно бы остался в Отейле и пристроился к идиллии госпожи Гельвециус, хотя бы в качестве надзирателя за цыплятами и чижиками, с обязанностью кормить ее знаменитых птиц. Что вы думаете, мой прелестный друг, могли бы вы предоставить мне у себя хотя бы такое место?

Общий хохот встретил этот забавный вопрос Франклина, обращенный к почтенной хозяйке дома, причем он взял ее

руку и прижал к своей груди.

– О, как скоро вы бы соскучились здесь! – ответила госпожа Гельвециус, краснея. – Вы еще слишком молоды для той уединенной жизни, какую веду я с моими чижиками и курами; вас бы стало скоро опять манить на арену, где вы свершили столь великое, но еще неоконченное вами дело. И лично мое общество скоро перестало бы вас радовать, потому что я уже старуха, празднующая именно сегодня свой пятидесятишестилетний день рождения.

– Сегодня, сегодня? – воскликнул Франклин, с юношеской живостью вскочив с места и делая вид, что хочет вновь обнять свою приятельницу. Но к последней со всех сторон стали подходить с поздравлениями, принимаемыми ею с очаровательной приветливостью. С особым удовольствием, казалось, выслушивала она любезные слова графа Мирабо, недавно только принятого в этот кружок. Упрекая себя за то, что раньше не знал об этом праздничном дне, он заявил, что день рождения прелестной женщины следует помнить так же твердо, как праздники святых по календарю, забывать о которых не позволено даже при самом непродолжительном с ними знакомстве.

– Вот этот француз, у которого язык на месте! – сказал Франклин, подходя к Мирабо, и с доверчивым простодушием, никогда его не покидавшим, запустил пальцы в густой лес волос, оттенявших эту буйную гениальную голову.

В первую минуту граф Мирабо смутился, но сейчас же

опомнился, и лицо его, так легко принимавшее резкое и мрачное выражение, обратилось к старцу с дружеским и полным уважения взглядом.

— Собственно говоря, больше всех виноват я, что не узнал о дне рождения нашей приятельницы и не поздравил ее, — сказал маркиз Кондорсэ, человек лет сорока, глаза которого сияли бесконечной добротой, а высокий выпуклый лоб, резкий орлиный нос и слегка сжатые губы обнаруживали знаменитого мыслителя-математика.

— Я полагаю, — продолжал он, добродушно себя обвиняя, — так как в этом кружке я состою счетчиком *par excellence*³ и день и ночь провожу за всевозможными вычислениями, что я сделал, вероятно, ошибку в сердечном вычислении, все же другие должны были сами собой прекратиться в такой день, который является формулой всякого для нас благополучия. Тем не менее примите дружеские пожелания вашего старого друга Кондорсэ!

— Это в высшей степени любезно, что никто из вас не считал моих лет! — сказала госпожа Гельвециус. — Как я счастлива, что вы все так хорошо относитесь ко мне! Даже друг наш Кондорсэ, всегда величественно спокойный, точно великолепный ледяной замок, послал мне теплое дуновение из тайников своей любящей души. Однако давайте говорить о чем-нибудь другом. Доктор Франклин должен еще рассказать о своих последних триумфах в Париже. Ведь если в эту минуту

³ В полном смысле этого слова (*фр.*).

парижане, столь опьяненные американской свободой, начинают представляться сами себе новыми людьми, то они этим обязаны лишь пленительному образу Бенджамина Франклина!

– Конечно, опять все у меня пошло прекрасно в этом прекраснейшем Париже! – ответил Франклин, усмехаясь и покойно вытягиваясь в кресле. – Парижские дамы устроили в мою честь праздник в Отель-де-Виль⁴, самый блестящий и трогательный из всех, на каких мне приходилось бывать. В то время как я чувствовал себя точно святой в раю Магомета, из трехсот дам была выбрана, по общему мнению, самая красивая, которая должна была доказать участие, принимаемое французскими дамами в достигнутой Америкой свободе. Жребий пал на графиню Диану де Полиньяк, одну из умнейших придворных дам. Она подошла ко мне с лавровым венком и не только возложила его на мои белые кудри, но еще прибавила два поцелуя в обе щеки – один в правую, другой в левую, – в то время как все общество, торжественно и притаив дыхание, прислушивалось к звукам этих поцелуев. Так стояло в праздничной программе, и вы можете себе представить, с каким благоговением и как тихо я в качестве посланника освободившихся американцев сидел во время этой церемонии, которая была значительнее, конечно, простой депеши из Парижа в Америку.

– А как же Версальский двор посмотрел на это? – спро-

⁴ Парижская ратуша.

сил Шамфор с оттенком колкой иронии, сопровождавшей все его замечания. – Говорят, что графиня Диана получила за это от короля хороший урок. Точнее сказать, он послал ей в подарок одну посуду, нарочно заказанную для прекрасной восторженной графини на севрской фарфоровой мануфактуре. На дне этой интересной вещицы был изображен ваш медальон с известной латинской надписью, сочиненной когда-то в вашу честь нашим д'Аламбером: «Он вырвал молнию у неба, а скипетр у тиранов».

– Да, кажется, все это было так, – заметил Бенджамин Франклин, громко расхохотавшись, и, по своей привычке, потирая от удовольствия руки, прибавил: – *Ça ira! Ça ira!*⁵ – слова, которыми он любил заканчивать фразу, даже если они не подходили именно по смыслу того, что он сказал.

– *Ça ira?* – повторил Шамфор. – Хотите ли вы этим подтвердить намерение его величества, поместившего вашу голову...

– Однако довольно об этом, любезный Шамфор! – быстро вмешалась госпожа Гельвециус, причем в ее приятном, почти девическом голосе послышался гнев. – Такое направление разговора мы ведь обыкновенно предоставляем Версалью и аристократам, которые не могут забыть тона времени регентства.

– Да я только и хотел охарактеризовать Версаль! – с живостью возразил Шамфор, причем его прекрасные, вырази-

⁵ Дело пойдет на лад! (*фр.*)

тельные глаза обратились к госпоже Гельвециус с просьбой о прощении. – Эта история, которая для нашего всеми уважаемого Франклина может быть только лестной, в конце концов доказывает лишь то, что свою оппозицию против американского энтузиазма, в котором французский народ в первый раз почувал свежий воздух, король не решается проявить открыто, а облачает ее в таинственные символы, о которых, в сущности, и говорить нельзя. Королева чистосердечнее: сохраняя свою любезность и хорошее расположение духа, она, однако, довольно сильно выражает неудовольствие против симпатий американской свободе.

– Следует признать, однако, – начал с некоторой торжественностью Франклин, – что мы, американцы, начинаем понемногу помогать вам, французам. Нашей победоносной борьбой за освобождение мы нанесли тирании всех стран и народов удар по голове, и она после этого стала сильно покачиваться. Благодарение Богу и нашему великодушному Вашингтону за то, что мы смогли подняться из рабства, в которое свободно рожденный народ был ввергнут надменным эгоизмом британцев, и вновь стать людьми и мужчинами. Но затем благодарение и вам, французам, за то, что мы двинулись и пришли к цели, потому что вы протянули нам дружескую руку и, подвижные и наэлектризованные, как всегда, направили мнение европейских народов в нашу пользу; это одно уже обескрылило отвагу англичан против нас. Да, вы были первой державой, заключившей после нашей славной

революции оборонительный союз и торговый договор с новым свободным государством. В числе же наших соратников мы увидали ваших лучших и благороднейших сынов. Не вы ли послали к нам Рошамбо и прекрасного юношу-героя Лафайетта на помощь для завоевания свободы? Итак, мы должны быть благодарны вам, дорогие французы. А чем мы можем лучше доказать вам нашу благодарность, как не тем, что вползаем с нашей американской свободой в ваше тело и душу и во все члены ваши вдуваем воздух свободы? Да, мужи Франции, вы уже заражаетесь Америкой, и скоро ею заразится все человечество. Слушайте, что вам говорит старый Франклин, настанет новое время! *Ça ira, Ça ira!*

– Да, *Ça ira!* – воскликнул граф Мирабо, стремительно поднявшийся и подошедший к Франклину, оживленно жестикулируя. – Оно пойдет, потому что придет! Америка говорит нам: *са іга!* И это ваше любимое слово, благородный Франклин, которое мы принимаем от вас как полный значения клич, прогремит когда-нибудь и при французской свободе в массах нашего народа. Мы хорошо знаем, чем мы обязаны вам, ибо мы знаем тоже, чем однажды Франция будет обязана себе самой. В Америке уже прозвонил колокол свободы, но Франция, внимая этому отдаленному чудному звону, должна думать лишь о себе, чтобы воспрянуть ото сна рабства. Да, это был долгий, тяжелый сон – рабство Франции под властью королей, но ведь рабство и есть настоящая школа свободы, а Париж, без сомнения, главное место пребыва-

ния этой школы нашего времени. В Америке большой, полный будущности народ поднялся и встал своими собственными гражданскими силами, и мы смотрим на него пока с завистью и удивлением. Но во Франции, в Париже, философия давно уже стала учительницей свободы и начала вооружение умов для того, чтобы распиливать оковы рабства на ногах человечества. О, я еще помню то громадное впечатление, с которым ворвалась в мою мрачную темницу весть о вашей борьбе за независимость, славные американцы! Мне казалось, что при этом известии Венсеннский замок, в котором я сидел тогда, разверзается над моей головой и расходится потоком света и огня. Представьте себе только бедного заключенного, каким я был целые годы, в тюрьме по воле тирана-отца, обращавшегося со своими детьми и родственниками, как с рабами. И в таком-то несказанном бедствии услышать о целом народе, разбившем свои оковы! Вы можете себе представить, сколько счастья, а вместе с тем и страдания почувствовал я при этой вести. Я думал, что не выдержу уже больше в моих сырых тюремных стенах. Представив себе прелесть быть солдатом в борьбе, в которой новый мир хочет сбросить иго старого, я написал графу Морепа, прося о позволении уехать в Америку и вступить в ряды войск. Я готов был всего охотнее умереть там, а вместе с тем именем общества просил положить примиряющее расстояние океана между неестественно разгневанным отцом и его сыном. Но мои жалобы и просьбы не были услышаны, и я остался один

в своей тюрьме. Тогда-то, в тоскливые ночи, я принял решение, которое будет властвовать надо мною всю мою жизнь. Я задумал бороться и для Франции так, как я хотел бороться для Америки. Я думал о Монтескье, о Вольтере, Мабли, Руссо, принесших нам свет, и дал себе слово подвинуть французов к окончательному осуществлению дела этих великих умов.

При последних словах Франклин поднялся с кресла и, опираясь на палку, которую никогда не выпускал из руки, стоял, внимательно и задумчиво прислушиваясь. Когда Мирабо кончил, он долго смотрел на него серьезным, пронизывающим взглядом и, казалось, изучал его наружность в мельчайших подробностях. Могучее чело Мирабо пылало еще от мыслей, только что с таким страстным возбуждением высказанных им, а в волосах, развевавшихся на его голове, точно грива, казалось, искры трещали.

Франклин, как бы в знак уважения, которое он не считал нужным сдерживать, дотронулся до своей черной шапочки и сердечно проговорил:

— Молодой человек, вы мне чрезвычайно нравитесь, и мне хотелось бы от всего сердца объясниться вам в любви. Если все меня не обманывает, вы будете мужем действия идей этого века, и юная американская свобода через вас зацветет во Франции. Мы сами себя не возвеличиваем, ибо думаем, что эта едва народившаяся свобода есть виноградный сок народов, который начнет бродить лишь в вас, францу-

зах, и вы уже получите настоящее вино будущего. Но американцы пролили свою кровь за свободу и независимость, а кровь – всегда великий пример и благословение, утоляющее всеобщую жажду сердца и дающее созреть всяким решениям. То, что я сделал, было незначительно. Иных моих заслуг нет, кроме той, что я находил всего лучше образовать общество из любви, братства и труда, а также из основанной на этом гармонии частного с целым. Если за такой образ мыслей мои соотечественники так щедро вознаграждают меня, облакая бедного типографщика важными поручениями и должностями в государстве, то этим я обязан тому блеску, в котором является каждый, верно понимающий настоящую основу своего времени. Но, когда я вижу такие дарования, как те, что украшают вас, граф Мирабо, и сияют на челе стольких выдающихся людей своего круга, то думаю, что движение во Франции, как только пробьет час его, будет блестящим праздником всего человечества!

– Слушайте! Слушайте! – воскликнул Шамфор громким и звучным, как труба, голосом. – Великий американец говорит так, что душа радуется; и, действительно, человек изобрел громоотвод и электрического дракона и старался объяснить северное сияние, есть именно тот человек, который заставит излиться громадную электрическую силу Франции. Мы тоже в последнее время производили некоторые физические и химические опыты, потому что, когда думаешь об обновлении целой нации и основании царства свободы, то прежде

всего раскрываешь перед собой книгу природы и стараешься разгадать ее законы, сущность каждой вещи, как она существует сама в себе, живет, радуется и наслаждается. Но когда мы впервые услыхали про вас, отец Франклин, что вы изобрели электрического дракона, то не помнили себя от радости, думая, что найдена наконец настоящая машина нашего времени. Как только вы пустили вашего дракона вверх, чтобы снять с облаков электрическую силу, так мы, французы, открыли, что в нашей собственной национальной силе имеется такой электрический дракон; его мы скоро должны будем пустить вверх для исследования воздуха в наших высших слоях и, при помощи этого проводника, получить то, что принадлежит нации. Вы видите, мы признаем вас нашим учителем, и мой друг Мирабо, этот гордый француз, один из первых пустил во Франции такого дракона вверх, а именно свое дивное сочинение «О деспотизме». Не доказал ли он им ту массу электричества в надвигающейся на Францию буре, которая скоро разразится над нашей головой?

В эту минуту слуга доложил о прибытии господина Этьенна Монгольфье. При этом имени все зашевелились, вспомнив о новости дня, подтвержденной прибывшими из Парижа гостями.

Тем временем вошел Монгольфье, уже лично знакомый с большинством из присутствующих, и был любезно встречен хозяйкой. Это был еще довольно молодой человек, не более тридцати лет, интересное, бледное лицо которого но-

сило следы громадных усилий и борьбы, потраченных им на достижение ныне увенчанного таким удивительным успехом дела. В то же время своей необычайной простотой он производил самое приятное впечатление скромности и застенчивости, выражавшееся еще тем, что он отклонял от себя честь изобретения воздушного шара, приписывая его, главным образом, своему брату Иосифу, с которым производил сообща все работы. Между тем было известно, что идея нового изобретения впервые явилась у Этьенна, на него же выпала задача демонстрировать новый снаряд в Париже и Версале и произвести окончательные испытания его силы.

Монгольфье, с интересом окруженный всеми присутствующими, подтвердил в ответ на их вопросы, что сегодня в Отейле он должен вновь пустить свой шар в присутствии всего двора. Приглашая все общество на это зрелище, он просил воспользоваться предоставляемой им трибуной и прибавил, что придает этому посещению тем большее значение, что в его шаре сделаны некоторые усовершенствования, которые ему приятно было бы подвергнуть суду таких знаменитых и сведущих людей.

– Конечно, – произнесла госпожа Гельвециус нерешительно, – время нашего обеда еще не наступило, и я ничего не имею против того, чтобы, с согласия моих гостей, вы увели их на время; думаю, однако, что ваше представление не затянется слишком долго; иначе я протестую, не желая испортить весь мой обед, тем более что есть необыкновенная

новинка сегодняшнего стола — американская ветчина, присланная мне генералом Лафайеттом, им же полученная прямехонько с фермы генерала Вашингтона. Вы понимаете, что такую ветчину хочется подать в наилучшем виде. Наш милый друг, маркиз Лафайетт, тоже прибудет к обеду. Жду еще Дидро, который, к сожалению, хотя и прихрамывает последнее время, однако обещал приехать. Как видите, мне самой необходимо остаться для их встречи.

Монгольфье казался удовлетворенным, однако видно было, что он имеет на сердце еще что-то, чего не решается высказать. Наконец, заявил, что ему бы очень хотелось иметь с собой сегодня при полете несколько птиц и домашних животных, и обратился к госпоже Гельвециус с просьбой одолжить ему для этой цели некоторых из обитателей ее двора. Он обещал, что ни малейшего вреда животным причинено не будет, как это уже было доказано при последнем опыте с ними, окончившемся вполне благополучно, и который, по желанию герцога Шартрского, намеревающегося тоже подняться сегодня в шаре, должен быть повторен. Герцог, отнесшийся с особым интересом к новому изобретению, поставил условием нахождение в шаре разных животных для наблюдения за воздействием атмосферы на них. Вот почему Монгольфье хотелось бы иметь такие замечательные экземпляры, какие можно видеть только у госпожи Гельвециус.

Последняя, с улыбкой покачав головой, с жаром произнесла:

– Нет, нет, любезный Монгольфье, из моих животных, приросших к моему сердцу, я ни одного не могу вам дать. Я никогда бы не простила ни вам, ни себе, если бы даже самая плохонькая из моих тварей свернула себе при этом шею. Из моих птиц не могу вам дать даже самой ничтожной синички, потому что в эту минуту все летают на свободе. Целый день мой птичник открыт, и все, кто хочет летать, летает по полям и садам; лишь с наступлением ночи верные и точные маленькие твари прилетают обратно. Это моя семья; каждую в ней птичку я знаю и люблю и ни одной не могу дать герцогу Шартрскому для его опытов. Посмотрите там на дворе, вся клетка пустая!

Живо, почти с гневом, овладевшим ею, госпожа Гельвециус открыла при этом окно, выходившее на двор, и все увидели большой великолепный птичник, башенка и все проводочные окна которого были со всех сторон открыты.

Монгольфье замолчал, покраснев и наклонив голову в знак того, что в таком случае он берет свою просьбу назад. Но граф Мирабо подошел к нему и, дружески его потрепав по плечу, с покровительственным видом сказал:

– Не могу ли я вывести вас из затруднения, господин Монгольфье? Госпожа Гельвециус обладает слишком чувствительным сердцем по отношению к своим животным, боясь, вероятно, нравственной и физической заразы от общества герцога Шартрского, хотя бы в течение нескольких минут. Но у меня есть собака, зовут ее «мисс Сара»; хотя я к ней

питаю давно уже большую слабость, однако с некоторых пор она раздражает меня своими проказами, и я буду рад ее проучить; лучшего же наказания не придумаю, как поместить ее в общество такого принца, как герцог Шартрский. Мне любопытно также видеть, какое влияние окажет на мою собаку невысокая воздушная атмосфера, а также близость столь привилегированного господина. Она здесь, на дворе, к вашим услугам, господин Монгольфье, и, кстати сказать, чрезвычайно красива. Итак, я приведу вам мисс Сару.

Слова эти, по-видимому, очень понравились обществу, что выразилось сначала тихим перешептыванием, а потом громким смехом. Монгольфье же поспешил поблагодарить графа.

– Я все-таки осмелюсь обратиться с просьбой к госпоже Гельвециус! – воскликнул весело Шамфор. – Не следует ли из отейльской виллы философов сделать маленькое добавление к обществу герцога Шартрского? Я бы предложил для этого злую черную кошку, недавно исцарапавшую прелестные ручки нашей дорогой хозяйки. Появление кошки, как известно, относится ко времени великого Гельвециуса, вашего мужа, любившего ее, и под письменным столом которого она всегда сидела в то время, когда он писал свои философские сочинения. Герой материализма клал при этом часто ноги на электрическую спину этой кошки, так что его сильное учение основывалось, в известной степени, на испускающей искры кошачьей шерсти. Через это кошка Там-

там сделалась, конечно, всемирно исторической кошкой, но если отсюда она извлекает право царапать и кусать своих старых друзей, то за это она будет теперь слегка наказана. К тому же для нас будет величайшим удовольствием эту знаменитую кошку Гельвециуса, в которой, без сомнения, сидит один из родоначальников чертей, пустить на воздух вместе с милейшим герцогом Шартрским. Она, которая видела зарождение, а быть может, помогала и созданию новой системы века, была бы самым интересным *vis-à-vis*⁶ для принца, представляющего собой поразительную вершину греха старого, отвергнутого нами времени.

– Весьма хитроумно и парадоксально, как всегда, но и не дурно, как всегда! – возразила госпожа Гельвециус. – С моей стороны, с удовольствием предоставляю Тамтам к вашим услугам, господин Монгольфье. Сейчас я прикажу позвать вам черную спутницу.

В эту минуту раздался легкий скрип выходящей в сад двери, в щель которой просунулась большая черная кошка. Все были поражены ее появлением в эту минуту, в том числе и сама госпожа Гельвециус.

Кошка уселась, как бы прося защиты, к ногам своей госпожи, крепко прижимаясь к ее платью и патетически мурлыкая.

– Поди прочь, Тамтам! – прикрикнула госпожа Гельвециус. – Ты опять стала несносной, надеясь на свое прошлое.

⁶ Визави, собеседник (*фр.*).

Комната вдруг наполнилась еще множеством животных, просунувшихся в приотворенную дверь. Тут были не только более крупные обитатели виллы – даже коза, оставшаяся при входе, – но влетела и целая стая птиц, возвратившихся, как видно, домой ранее обыкновенного и с беспокойством искавших свою госпожу, не встретившую их, как всегда, у птичника с зернами и ласковыми словами.

Госпожа Гельвециус была совершенно поражена непонятным появлением своих любимцев.

– Это что-то значит, если вы так рано прилетели домой! – сказала она, отгоняя от себя бесцеремонных чижи-ков. – Обыкновенно вы, сорванцы, пропадаете почти до захода солнца. А теперь вдруг мешаете мне с моими гостями. Чего же вы хотите? Не испугались ли вы там чего-нибудь необыкновенного?

В ту же минуту последовал ответ на последний вопрос раздавшимся вдали и все приближавшимся грохотом, подобным грому.

– Это придворные экипажи, въехавшие сейчас в Отейль! – сказал Шамфор, подходя со смехом к окну. – Рай животных нашего друга, в котором она царит, как ангел, почуял близости версальскую змею и в ужасе рассеялся. И действительно, ведь это адский шум: весь двор со свитой, десять, двенадцать экипажей, а рядом и сзади целый сонм блестящих всадников, вельмож и слуг! В тихом Отейле никогда не видели и не слышали двора; удивительно ли, что испуганные

маленькие звери поспешили домой?

Монгольфье откланялся, чтобы с прибытием двора закончить к назначенному часу приготовления к подъему шара. При его уходе ему было повторено, что животные будут вовремя на месте.

Все общество тоже стало собираться, причем было условлено, что госпожа Гельвециус прибудет позже вместе с ожидаемыми еще гостями.

II. Собака Мирабо и кошка Гельвециуса

На большой, просторной площади, расположенной посередине Отейля, были устроены трибуны для двора и публики, собравшихся на третий опыт Монгольфье.

Еще до прибытия двора предназначенные для большой публики трибуны наполнились зрителями, прибывшими из Парижа и его окрестностей, и вся эта пестрая, скученная толпа выражала сильнейшее нетерпеливое ожидание, подчас даже резкими, беспощадными замечаниями насчет герцога Шартрского, намерение которого подняться сегодня на воздушном шаре было уже всем известно.

Общество с виллы госпожи Гельвециус заняло предназначенные ему места, когда уже весь двор находился в устроенных для него ложах, богато разукрашенных бархатом и золотом.

В средней ложе сидели король и королева, а с ними рядом любимица королевы, герцогиня де Ламбаль, недавно назначенная гофмейстериной Марии-Антуанетты.

В двух других ложах, справа и слева, поместились братья короля, Monsieur⁷, граф Прованский и граф д'Артуа, со своими супругами и придворным штатом. В третьей ложе можно

⁷ Месье (титул старшего из братьев короля).

было видеть герцога Людовика-Филиппа Орлеанского, отца герцога Шартрского, а рядом с ним прекрасную госпожу де Монтессон, с которой Людовик-Филипп был недавно тайно обвенчан.

Между придворными сановниками был новый министр финансов Калонн, призванный лишь в прошлом году на помощь все более и более расшатывающимся финансам Франции.

При появлении двора сейчас же на всех трибунах водворилась глубочайшая тишина, имевшая характер не только равнодушия, но и чего-то тяжелого и неприязненного.

Прошло время, когда молодой король при появлении на публике приветствовался ликующими возгласами народа, такими, какими был встречен десять лет тому назад при восшествии на престол. В то время, когда Франция, по смерти порочного и преступного Людовика XV, вздохнула свободно, к нему полетело навстречу радостное прозвище «желанного» (le De'sire). Но девятнадцатилетнего короля прозвище это не удовлетворило. Он захотел своими делами заслужить название благодетеля народа. С этих пор, где бы Людовик XVI ни появлялся, народ был нем, мрачен и полон недоверия.

Но сегодняшняя тишина при появлении двора была более зловеща, чем обыкновенно. В противоположность тому, при появлении Франклина, едва он подошел к перилам ложи, чтобы занять свое место, все бурно поднялись, и бес-

конечные крики «Да здравствует Франклин!», сопровождаемые маханием дамских платков, пронеслись по всему пространству.

Франклин с побеждающей сердце улыбкой передвигал свою черную шапочку, желая этим выразить благодарность. Затем уселся между Мирабо и Кондорсэ, под руку с которыми вошел, и, скрестив руки на своей палке, с задумчивым и озабоченным видом смотрел на находившиеся напротив него ложи двора. Позади них, во втором ряду, уселись Шамфор и Кабанис.

Публика казалась чрезвычайно заинтересованной обществом, находившимся вместе с Франклином; в особенности Мирабо и Кондорсэ были предметом всеобщего внимания. Было известно то участие, которое они принимали в составлении обсуждавшейся в Париже конституции для освободившихся американцев; идеи же свободы, равенства и прав человека впервые стали непосредственно связанными с именами Франклина, Кондорсэ и Мирабо.

Тень пробежала по лицу короля при этом новом публичном изъявлении благоговения французского народа перед Франклином. Его благородные черты, выражавшие глубокую честность и добросовестность, имели всегда несколько меланхолический вид; но в минуты, когда он бывал расстроен, вся его фигура принимала какое-то жалкое выражение, что при свойственной ему некоторой небрежности в туалете, особенно куафюры, бросалось всем в глаза.

В то время как король Людовик XVI, глядя на публику, впал в мрачную задумчивость, королева Мария-Антуанетта, с тем большей гордостью и уверенностью в победе, подняла свою прекрасную голову. Блуждая явно насмешливым взглядом по публике, она, гордо откинувшись назад, смотрела на нее отчасти с пренебрежением, отчасти с состраданием.

Энтузиазм французов при виде Франклина был не только лично противен королеве, но в нем она видела с гораздо большею прозорливостью, чем Людовик XVI, желание народа чествовать в лице старого американца представителя республики, делая, таким образом, оскорбительную манифестацию для монарха и трона. Мария-Антуанетта была слишком горда и честна, чтобы скрывать свое истинное мнение в глазах толпы под видом примирительного снисхождения. Этим она уже повсюду умножила число своих врагов и вызвала к себе нерасположение, с каждым днем увеличивающееся из-за ее веселости, насмешек и откровенно выражаемой неприязни всему, что для нее было неприятно и неудобно.

И теперь ясное, полное гармонии выражение ее прекрасного лица, ее веселость и уверенность в себе показывали, что Мария-Антуанетта не ощущала ни малейшего смущения и не считала себя вовсе в дурных отношениях с публикой и народом. Ее поразительно правильные черты сияли прелестью и уверенностью в своей молодости и силе, прелестью, которая при желании с ее стороны ощущалась и другими.

Но в эту минуту было видно, что неприязненная публи-

ка вовсе не расположена восхищаться королевой, то есть отдавать честь ее действительно чарующей красоте. Королеве шел двадцать девятый год, казалась же она еще гораздо моложе благодаря в особенности удивительной белизне и нежности кожи, яркому цвету лица и чудным белокурым волосам. Эта неприязнь, возникшая в публике уже давно к Марии-Антуанетте, казалось, была столь же слепой к прелести ее редкой красоты, как и неблагодарной за все ее благодеяния и усилия смягчить народные страдания. Привыкли видеть в ней врага нации, – что бы она ни делала и что бы ни предпринимала, – и каждый ее поступок влек за собой целый ряд клеветы и полных ненависти острот и песен, затемнявших всякое иное о ней представление.

И теперь ропот неудовольствия стал быстро распространяться в толпе при виде королевы, продолжающей несколько вызывающим образом смотреть на нее. Мария-Антуанетта тотчас же почувствовала это недружелюбное к ней настроение, но только шутила над ним, смеялась и даже, выпрямляя свой стройный стан, перегибалась к госпоже де Ламбаль и, вопреки этикету, шептала ей на ухо, вероятно, очень забавные вещи.

– Опять мы очутились в замечательном положении! – сказал Шамфор, сидевший позади Мирабо, трогая последнего за плечо, чтобы привлечь его внимание. – Королева и здесь развлекается сама собой, в чем она так сильна. Ночные прогулки на террасе давно уже прекратились: целый поток сати-

рических куплетов унес с собой это невинное удовольствие, а теперь веселая королева забавляется публикой и лицами добрых французов. Посмотрите только, как в эту минуту орлиный нос красивой женщины, – по-моему, с чересчур загнутым кончиком, – выражает самую тонкую и едкую насмешку, а толстая, отвисшая австрийская губа, ручаюсь в этом, произносит как раз какое-нибудь *bon mot*⁸, очень забавное, но и очень колкое.

– Против всего можете говорить, только не против красоты королевы! – возразил Мирабо, погрузившийся весь, глазами и мыслью, в созерцание Марии-Антуанетты. – Я себя считаю в известной степени знатоком, но чего-либо более совершенного и прекрасного, чем этот чудесный овал лица, я никогда не видел. По мне, она немного худа, но и в этом есть своя прелесть и неизъяснимая грация. Чудное сложение всей фигуры безукоризненно так, как едва ли когда-либо еще выходило из рук творения. В движении ее каждого члена сияет и так непринужденно и сильно вырывается наружу та истинная молодость, ничего не ведающая о королевской власти и привилегиях сословий! Я полагаю, Шамфор, что этот ангелоподобный облик следовало бы нам перенести и в наше новое время.

– Ради бога, что нам думать о ваших словах, граф Мирабо? – засмеялся Шамфор. – Вы, кажется, на пути к тому, чтобы влюбиться в королеву, и тогда прощай наше новое вре-

⁸ Остроумное выражение (*фр.*).

мя, ожидающее вас как своего вождя. А сидящий рядом с королевой герцогиней де Ламбаль вы разве больше не интересуетесь? Разве она тоже не красива и не блондинка? И не гордились ли вы еще недавно тем, что были ее счастливым тайным другом, имевшим право хвалиться приключениями самого нежного свойства с принцессой крови.

– Вам известен мой взгляд на женщин, Шамфор, – возразил Мирабо, бросив долгий, горячий взгляд на герцогиню де Ламбаль. – Я знаю, что на этот счет мы с вами никогда не сойдемся. Вы, хотя и величайший сатирик нашего времени, смотрите на женщин, как на высшее откровение гения, и думаете, что можно заключить с юбкой союз на жизнь и смерть. Мой взгляд на них гораздо яснее. Женщина – это теплый день цветения, которым надо пользоваться сегодня, потому что в завтрашнем дне уверенным быть нельзя. Каждый цвет – дело дня и ночи, друг мой, и лишь сегодня он столь прекрасен для нас. Завтра солнечный день или дурная погода могут повредить ему, и если он и не вполне завянет или осыплется, то все-таки может показаться нам совсем иным, чуждым. Вот тебе история моих отношений к герцогине де Ламбаль.

– Ну, немножко больше, чем день и ночь, продолжалось-то оно между вами, – заметил Шамфор. – Она ведь благоволила к тебе, когда ты еще сидел в Венсеннском замке; благодаря ей же ты мог тайком пробираться иногда в Париж и пользоваться этим для свиданий с прекрасной принцессой. Но она действительно прекрасна, в особенности своим

чудным, кротким выражением лица и, пожалуй, еще больше своим несчастьем, которое придавало всему ее существу эту нежность и грусть. Ибо я смотрю как на величайшее несчастье, могущее постигнуть благородное чистое создание, — иметь мужем принца из дома Бурбонов.

— Она была скована с этим де Ламбалем только пятнадцать месяцев, — заметил Мирабо. — Единственным ее чувством в этом омерзительном супружестве было здоровое отвращение, охранившее ее действительно драгоценные природные качества. Она видела подле себя принца, который, не взирая на то что ему было только двадцать лет, был совершенно съеден всевозможными болезнями. Часто говорила она мне, что у смертного одра этого светлейшего мерзавца она пожелала быть простой дочерью народа и никогда не знать зараженного дыхания французского двора.

— А-а, — смеясь воскликнул Шамфор, — вы хотите мне этим дать понять, как мастерски вы умеете демократизировать даже принцесс крови, и как мы поэтому можем спокойно поручать вам всегда такого рода отношения! Конечно, Франция во всем полагается на ваши дарования, граф Мирабо! Однако смотрите, там внизу показался герцог Шартрский и разговаривает с Монгольфье, вероятно, насчет безопасности шара, который, надо надеяться, начнет когда-нибудь свое воздушное путешествие. Да, да, это не шутка, королевского принца отправлять в облака; если даже у него нет недостатка в храбрости, то нужно все-таки предвидеть все в обеспече-

ние драгоценной жизни.

— Это крайне интересный чудака, этот герцог Шартрский, — начал Мирабо. — Если бы он не был так глуп, он мог бы быть настоящим преступником, но его мерзкие дела все еще перемешиваются с его дурачествами, и, признаюсь, для меня его фигура представляется только комической.

— Быть может, скоро он станет трагической фигурой, — прибавил тихо Шамфор. — Начало этому им уже положено той роковой ролью, какую он разыграл в качестве зятя герцога де Ламбаль. Он не только развращал его всеми способами, но и окончательно губил его здоровье, опаивая вредными, одуряющими напитками. Если бы де Ламбаль не был единственным сыном и наследником богатого герцога Пентьеврского, то, может быть, герцог Шартрский не избрал бы его жертвой своих сатанинских скоморошеств. А тут он захотел перетащить себе часть громадного состояния, которое должно было однажды достаться де Ламбалью. Имела ли эта роль характер комический или трагический, друг Мирабо?

— Я все же остаюсь при том, — возразил Мирабо, — что и здесь мое впечатление было комическим. Если бы герцог, господин Шартр, не развратил принца де Ламбаль и не сделал из него омерзительного образчика нравов нашего двора, принцесса, быть может, полюбила бы своего молодого мужа, и они до сих пор жили бы в супружеской идиллии, как два голубка. Я не встретил бы тогда в Венсенне прекрасную белокурую принцессу, где она очутилась случайно во время моей

прогулки по крепостному валу; не был бы ей представлен сопровождавшим ее моим старым приятелем, графом д'Атрэг, а она не заинтересовалась бы с любовью моей особой. Эти «быть может», Шамфор, и представляют собой настоящую комедию жизни, и вы видите, господин философ, что множеством из них я обязан злобе герцога Шартрского.

– Так что вы еще должны поблагодарить его, – заметил Шамфор, смеясь. – Но смотрите, вот он опять выступает и гонит бедного Монгольфье, чтобы тот кончал наконец приготовления к отъезду. От нетерпения поскорее отличиться он испытывает зуд во всех своих светлейших членах. Оделся он совсем по-английски к этому представлению. Впрочем, он ведь стал теперь во главе парижских англоманов, чем играет в оппозицию остальному двору.

– Что вы думаете об этом английском костюме, граф Мирабо? Не правда ли, какой живописный вид представляет собой этот породистый индивидуум в ярко-красном фраке с ласточкиным хвостом и большими позолоченными пуговицами, в красивом кисейном жилете, черных шелковых панталонах и в полосатых, голубых с белым, чулках! В руке он нежно держит тросточку, поигрывая ею, совсем так, как мой слуга выколачивает мне каждое утро платье.

– Я рад, что сегодня герцог Шартрский вообще что-нибудь имеет на себе, – заметил граф Мирабо. – Не так давно еще он, желая выиграть пари, проехался верхом из Версаля в свой Пале-Рояль в том виде, как создала его мать-природа,

или, вернее, как создал грех. Относительно же его англома-
нии, кажется, двор Версальский давно уже успокоился. Они
уверены, что, кроме фрака и скаковых лошадей, он ничего
оттуда не выпишет. То, что он не войдет во вкус английского
парламента, он уже ясно доказал своею ребяческой ненави-
стью к нашему невинному французскому парламенту. Лишь
бы только подняли его наконец повыше на воздух, чтобы мы
могли уже отправиться обедать.

В эту минуту их внимание было обращено на остававшу-
юся до сих пор пустой ложу рядом с ними и наискось ко-
ролевской трибуны. Взоры всей публики разом обратились
на вошедших, и невероятное ликование с бесконечными ру-
коплесканиями и возгласами одобрения пронеслось по всей
толпе.

Это был генерал Лафайетт, появление которого вызвало
такой же энтузиазм, как и появление Франклина.

Молодой генерал, сделавшийся со времени своего возвра-
щения из Америки явным любимцем, принимал выражае-
мый ему восторг едва заметным, как бы от себя его отклоня-
ющим наклоном головы. Он ввел под руку госпожу Гельве-
циус, которая уселась рядом с ним, веселая и прелестная. По
другую сторону Лафайетта вошел с ним вместе граф д'Эст-
энг, знаменитый своею храбростью французский адмирал,
бывший во время американской войны за освобождение ко-
мандующим французскими вспомогательными отрядами, а
теперь, по заключении мира, находившийся опять в Париже.

Как он, так и друг его Лафайетт имели на груди медаль в виде орла – новый цинциннатский орден, учрежденный в память славной революции и который вместе с тем начал служить в Североамериканских Соединенных Штатах знаком отличия образовавшегося особого общественного союза.

Маркиз Лафайетт, молодой человек не более двадцати семи лет, производил чрезвычайное впечатление не столько своим внешним видом, которому недоставало в известной степени свободы и апломба, сколько романтической и полной приключений военной славой, окружавшей его своим ореолом. Во всех его движениях было что-то неловкое, и это неблагоприятное внешнее впечатление усиливалось еще его фигурой с необыкновенно короткой талией. Но все это вполне вознаграждалось впечатлением мягкости и сердечной доброты, которыми дышало все его существо. Это соединение детской кротости с самой крайней решительностью производило то чарующее впечатление, которое осталось навсегда нераздельным с образом Лафайетта. Ярко-рыжие волосы не нарушали привлекательности его физиономии; напротив, придавали ему некоторую пикантность.

Кланяясь несколько сдержанно шумно ликующему народу, Лафайетт, увидав Франклина, стал с величайшей почтительностью приветствовать его. Франклин, с живостью юноши встав с места, отвечал ему с не меньшей искренностью и некоторую торжественностью как представитель американского народа.

Когда публика увидала, с какой сердечностью и нескончаемыми воздушными поцелуями эти двое людей приветствуют друг друга, то разразилась бурными возгласами и рукоплесканиями.

Легко увлекающийся Лафайетт не мог, казалось, удержаться дольше и, в знак того, что он понял желание публики, ударил по драгоценной сабле, которой был опоясан. Затем быстрым движением обнажил ее и, подняв высоко обеими руками, простирает эту драгоценность на все стороны, показывая ее публике.

Это была та самая золотая сабля, которую конгресс Соединенных Штатов прислал генералу Лафайетту и которая во имя американской независимости и как символ дружественного союза между Америкой и Францией была ему передана Франклином.

При виде этого раздались со всех сторон потрясавшие воздух рукоплескания и крики.

На придворных трибунах одну минуту все было неподвижно и все молчало. Лицо короля казалось более смущенным, чем разгневанным, столь беспощадно выражаемым в его присутствии чествованием; но королева, более страстная и откровенная во всем, едва сдерживала свое спокойствие. Однако с живостью нашептываемые ею королю слова, без сомнения, о том, чтобы всему двору тотчас же удалиться, были повелителем Франции строго отклонены.

В ложе напротив королевской трибуны, где сидели братья

короля со своими молодыми супругами, замечалась напускная, шумная веселость. Публика, конечно, могла думать, что там шутят и смеются над происшедшим, так как веселость обуяла их немедленно вслед за радостью толпы. Умное лицо графа Прованского, вообще редко показывавшегося на публике, приняло выражение едкой насмешки. Monsieur, старший брат короля, как раз в последнее время, когда его явное и тайное противодействие восстановлению старого парламента заставило так много говорить о его политических взглядах, высказал себя явным противником народа; обстоятельство это было достаточно известно для того, чтобы объяснить самым невыгодным образом его поведение и в эту минуту. Сидевший рядом с ним граф д'Артуа дал волю своему легкомысленному и беспечному характеру, делая презрительные жесты рукой, понятые, конечно, публикой.

– Лафайетт прав со своим новым изречением: «Во Франции настала американская эра!» – заметил маркиз Кондорсэ, обратясь к Франклину, с которым до сих пор он вел оживленную беседу о строении нового воздушного шара и о возможной от него пользе для будущего.

Франклин, улыбаясь, подергивал свои бриджи, необыкновенная белизна которых была одной из немногих прихотей, допускавшихся в костюме великого представителя своего отечества.

– Американская эра, без сомнения, прекрасна и многообещающа в будущем! – заметил сидевший позади них Ка-

банис, прервав свое молчание. — Однако, — прибавил он резко, — она не должна была бы украшать свою американскую грудь обманчиво сверкающими орденскими звездами Старого Света!

— Вы говорите насчет тех медалей цинциннатского ордена? — возразил Франклин, подняв на лоб свои большие очки и смотря на Кабаниса строгим пытливым взглядом. — О-о! Я думал, что этот орден очень мило и ярко горит на груди молодого генерала Лафайетта и графа д'Эстэнга. Разве эта золотая медаль, украшающая, в виде орла, грудь этих достойных и храбрых людей, не доказывает, что французы оказали услуги делу американской свободы и что они и в будущем посвятят себя этому делу? А эта голубая с белой каймой лента, на которой носится цинциннатский орден, разве это не символ нового союза между Францией и Америкой?

— Позвольте и мне вмешаться в разговор, но лишь с искреннейшей и горчайшей ненавистью к этому вашему американскому цинциннатскому ордену! — вмешался граф Мирабо. — Смешно уже, что молодое свободное государство свой первый признак жизни проявляет учреждением ордена, но есть в этом и опасность, которую более всего вы, достойный Франклин, не можете не видеть и коей не должны пренебрегать. Большая слабость, конечно, со стороны Лафайетта, что он здесь, во Франции, стал комиссионером вашего американского орла и не только раздает его сколько душе угодно всем сражающимся у вас французам, но и сам постоянно ки-

чится перед нами этой новой игрушкой. Я уже давно сказал, этот Лафайетт – не что иное, как милейший дилетант свободы, и ничем иным он никогда не сделается. Он останется навсегда орудием в руках своего собственного тщеславия, а оно сумеет вырезать из него любую фигуру.

– Наш цинциннатский орден предоставляю вам охотно, – отвечал Франклин с ласковой улыбкой, – но вашего Лафайетта, которого отчасти можем назвать и своим, – нет. Вы, может быть, правы, что такой орден легко может иметь опасные последствия для нашей молодой республики, и я готов, в другой раз, поговорить с вами об этом; но скажите, ради бога, какие недостатки находите вы в этом чудном юноше-герое Лафайетте?

Мирабо, бросив мрачно-злобный взгляд в сторону ложи, где сидел Лафайетт, сказал Франклину:

– Если бы я в свободное послеобеденное время читал роман, героем которого был бы Лафайетт, то, вероятно, отлично провел бы время. Но как человека политического образа мыслей я бы никогда не облек его моим доверием. Никогда не забуду, как во время карнавала, в шутовстве, которое принцы позволяли себе при дворе над восстановлением старого парламента, Лафайет принял участие в одном из театральных маскарадов, представлявших в смешном виде парламентские заседания. Говорят, что он проявил здесь большой талант пародии, соперничая с герцогом Шартрским, представлявшим председателя парламента, тогда как Лафай-

етт изображал карикатуру на генерал-прокурора. Наряду с доброй волей короля, желавшего идти навстречу своему народу, такой Лафайетт мог согласиться на подобное реакционное шутовство! С тех пор ни в каком будущем политическом движении я ему не доверяю.

– Вы забываете при этом, вероятно, принять во внимание его молодость, граф Мирабо! – заметил Кабанис. – Нельзя сомневаться в его честных намерениях, если даже по своей природе он и представляет соединение Катона с Алкивиадом. Но что в Америку на поле битвы повлекло его одно лишь воодушевление свободой, – это несомненно. Разве при возвращении молодой герой не был посажен под арест на двадцать четыре часа за то, что отправился в Америку на войну за свободу без разрешения короля? Я, впрочем, уже раньше старался побороть нерасположение, существующее между Мирабо и Лафайеттом, и не теряю надежды, что это мне когда-нибудь удастся.

Бледные щеки прекрасного молодого человека покрылись при этих словах ярким румянцем, а в глазах засветился благородный мечтательный огонь.

– Вы, как всегда, любезны и милы, Кабанис! – сказал Мирабо. – Однако оставим маркиза Лафайетта наслаждаться благоволением к нему народа и трансатлантическим блеском цинциннатского ордена. Я же хочу сделать предложение, на которое в особенности желал бы иметь согласие нашего достопочтенного доктора Франклина. Я намереваюсь издать

сочинение против цинциннатского ордена, и все вы должны мне оказать содействие своими мыслями и замечаниями. Вы, Франклин, Кондорсэ, Шамфор, Кабанис, все вы должны мне доставить ваш труд по этому предмету, и мы выпустим это в свет в виде манифеста, гласящего о том, как друзья истинной свободы скорбят и возмущаются тем, что едва возникшая республика, обязанная освещать путь двух народов, отмечает свое первое пробуждение знаком неравенства, новым рычагом тирании – орденом. Какое торжество для благого дела было бы получить содействие самого Франклина, великого защитника американской и европейской свободы! Слишком ли я смел в моих ожиданиях, отче Франклин, или же я знаю ваше сердце, великое благородное сердце, быющее лишь для свободы и народа?

– Вы хорошо его знаете, – отвечал Бенджамин Франклин, улыбаясь, – и скажу вам откровенно, что и я восставал против того, чтобы этот знак отличия не сделался наследственным достоянием, в чем мой благородный, великодушный друг, генерал Вашингтон, разделял мое мнение.

– Ну, вот, так дайте же мне вашу руку! – воскликнул Мирабо со свойственной ему страстностью, – дайте мне руку в знак того, что вы примите участие в моей книге. Ею мы будем бороться против ордена, начинающего так рано омрачать в Европе надежды на свободу, всплывшую в Америке. Этот орден может создать нам сразу, прежде чем вы этим обзаведетесь, патрициев и военную аристократию. Как воз-

никло вообще в Европе новейшее дворянство — этот сонм графов, герцогов и маркизов, затопивших и опустошивших Европу, как не признанием всех этих санов и военных титулов, в известных степенях родства, наследственными? Ведь и ваш орден образует особую ассоциацию офицеров, хотя и сражавшихся за американскую свободу, но желающих из этой заслуги извлечь особые права. Итак, ударим по рукам, и именно в эту минуту, именно здесь, где самым необычным образом мы сидим напротив целого французского двора, где вас окружают, справа и слева, графы и маркизы Франции, видящие в оппозиции против заржавевшего феодального мира преимущественно высшее, чем все их старые родовые титулы!

— Ударим по рукам, граф Мирабо, — отвечал Франклин. — Я слышал, что ваша фамилия принадлежит к старейшим дворянским родам Прованса, а потому сражаться под эгидой человека, который должен знать, что такое дворянство, против, без сомнения, еще не народившегося дворянства нашей республики, представляет для меня особую честь и полную гарантию. Но посмотрите, кажется, наш Монгольфье совсем готов; принц собирается сесть в лодку шара, и собака Мирабо с кошкой Гельвециуса приведены тоже для совместной загрузки.

Нетерпеливо ожидавшая публика приветствовала оживленными рукоплесканиями наступающее наконец начало представления. Между зрителями пронесся было слух, что в

последнюю минуту герцог Шартрский не решался на полет, находя шар далеко не безопасным. И действительно принц не переставал заявлять всевозможные новые требования.

Аэростат, устроенный Этьенном Монгольфье для его первых, вместе с братом, воздушных полетов, был сделан из крепкого холста, проложенного бумагой, имел сто десять футов в объеме и весил пятьсот фунтов. Посредством разжиженного воздуха ему удалось поднять этот шарообразный снаряд, и произведенные с ним до сих пор опыты вполне оправдали как само устройство, так и подвижность и безопасность шара. Тем сильнее было удивление Монгольфье, когда герцог Шартрский вдруг заявил ему, что он не доверяет его машине и что он закажет себе свой собственный шар, объемом в половину этого и цилиндрической формы, признаваемой им гораздо целесообразнее и безопаснее.

Известно было, что герцог Шартрский действительно производил этого рода опыты, но Монгольфье видел, что в эту минуту не какое-либо высшее соображение, а недостаток мужества возбудил у принца эти сомнения. Побледневшие щеки дрожащего принца говорили явно в пользу такого предположения.

Монгольфье, предложив теперь и себя в спутники по полету, умолял принца не терять доверия и не делать его смешным перед целым двором и битком набившейся публикой.

Принц еще медлил входить в лодку, хотя все было готово. – Он боится! Он боится! – слышались на трибунах ше-

пот и насмешки. Старые и новые остроты против герцога Шартрского так и сыпались из уст шутников, и даже на трибунах, занятых двором, замечались недоумевающие лица.

Наконец раздался звонок, возвещавший наступление полета, и неприязненные перешептывания и ропот публики сменились громким, радостным «а-а!», приветствовавшим вход герцога в лодку.

– Теперь уже и вправду поднимается! – вскричал веселый Шамфор. – Герцог Шартрский возносится наконец на воздух во всем своем величии. По-видимому, для воздушной битвы у него все-таки больше мужества, чем тогда в морской битве при Кессанте славной памяти, где он был глух, нем и слеп ко всем сигналам, лишь бы только не вести в бой корабль, находившийся под его командой. Всемирная история гласит, что французский принц королевской крови, в то время когда вихрь сражения готов был увлечь и его, укрылся в прибрежной бухте. Тогда появился портрет его в морской форме, с подписью чудного стиха из псалма: «И он увидел море и обратился вспять!» А теперь он смотрит на воздух и действительно поднимается в его чистейшие слои, не думая улетать прочь, хотя воздух – такой же хороший элемент, как и вода, а герцог Шартрский со всеми элементами природы должен был быть не в ладу!

– Быть может, черная кошка Гельвециуса своим героическим видом придала ему храбрости! – воскликнул Мирабо, смеясь.

– Однако рядом с кошкой Гельвециуса не надо забывать о собаке Мирабо! – заговорил вновь Шамфор. – Посмотрите на вашу великолепную мисс Сару, поднимающуюся на воздух так величественно и неустрашимо и с презрением позволяющую стоять возле себя герцогу Шартрскому, воздушное мужество которого все еще для меня сомнительно. Собака Мирабо, по мне, гораздо важнее в этом ансамбле, чем кошка Гельвециуса. Тамтам представляет собой символ новых познаний, а собака Мирабо указывает на новое дело этого столетия, возникающее из этих познаний. Мне уже слышится над нашими головами лай вашего великолепного бульдога, граф Мирабо. Что за чудо этот новый Ноев ковчег, рассекающий там наверху воздух, вместив в себе кошку Гельвециуса как познание, а собаку Мирабо как действие и окружив этими двумя апокалипсическими животными герцога Шартрского, первого представителя негодного старого времени. Это – ковчег будущего! Смотрите, как он еще стонет и качается в своем полете, а затем, пройдет еще минута, и он, собрав всю свою движущую силу, победоносно вознесется по облакам вплоть до прекрасного, вечного, свободного небесного свода!

В то время как наше общество весело беседовало, в плывущем как раз над их головами шаре приключилось, по-видимому, что-то особенное. Герцог Шартрский с Монгольфье оживленно жестикулировали. Большая публика, еще раньше заметив это, с громкими возгласами указывала на новое воз-

душное приключение, делавшееся все более и более странным. Пронесся слух, что принц опять трусит и настаивает на том, чтобы шар был спущен на землю.

Вскоре все это подтвердилось. Страшный, потрясающий воздух хохот раздался на всех трибунах; слышались всем известные шансонетки и остроты, намекавшие на различные приключения из жизни герцога Шартрского.

Теперь ясно можно было видеть, как Монгольфье всеми силами старался вновь спустить шар, едва достигнувший первых воздушных пространств. Настоятельное требование принца принудило к такому поспешному возвращению, тем более что своим жалким видом принц давал заметить, как он не на шутку страдает при едва начавшемся путешествии.

– Действительно, – воскликнул Шамфор при приближении шара к земле, с которой он несколько минут тому назад поднялся, – человек выглядит скверно и, как видно, так же плохо выдерживает на воздухе, как и в соленой воде при Кессанте! Теперь слова псалмопевца должны были гласить: «И он увидел воздух и обратился вспять!» Итак, есть уже два элемента, в которых можно быть обезопасенными от королевского принца Франции, – вода и воздух. Остаются еще для них земля и огонь; но так как земля, по Жан-Жаку Руссо, принадлежит народу, то возможно, что придет время, когда для этих господ останется свободное местечко лишь в огне.

– Тише, тише, Шамфор! – обратился к своему другу Мирабо с пальцем на губах. – Ваш остроумный язык – это сиг-

нальный колокол будущего. Я вам это уже не раз говорил. Но разве уже настало время звонить так громко? Полюбуйтесь лучше на юношу-героя Шартрского, который не изволил найти облачные выси достойными себя, а своим бесцеремонным возвращением оттуда показал, как он мало придает значения общественному мнению. Вот машина Монгольфье опять подскакивает и укрепляется на земле канатами. Мисс Сара, мой храбрый пес, выпрыгивает первой и страшным лаем возвещает свою злобу на неудавшееся путешествие. Кошка Гельвециуса тихо выползает вслед за ней, дьявольски крутя хвостом, точно хочет дать понять, что свои мысли об этом событии она оставляет при себе. Но вот наконец выходит наш герцог!

Принц казался настолько слабым, что Монгольфье должен был его приподнять из лодки и проводить под руку. Публика, однако, не отнеслась с тем вниманием, какого требовал его болезненный вид. Как только она увидела его среди себя, так стала выражать неудовольствие свистом и шиканьем, всевозможными восклицаниями и проклятиями.

Но Монгольфье немедленно избавил герцога от этой бури, уведя его за занавес.

Ложи, занятые двором, опустели еще до этого. Король и королева, как только заметили такой оборот зрелища и вновь разразившееся против герцога Шартрского неудовольствие толпы, тотчас же вышли и, сопровождаемые остальными принцами и свитой, поспешно направились к своим эки-

пажам. Им удалось дойти до них прежде, чем расходившаяся теперь в большом смятении публика стала покидать свои места.

Общество госпожи Гельвециус, выйдя с трибун, сошлось в самом веселом настроении. Необыкновенное происшествие развеселило всех, и даже граф Мирабо и маркиз Лафайетт, всегда бывшие довольно в холодных между собою отношениях, поклонились теперь друг другу с улыбкой и более сердечно.

Госпожа Гельвециус, приняв руку Франклина, быстро прошла с ним вперед, по направлению к своей вилле, находившейся в нескольких минутах ходьбы.

– Это нехороший признак, – заметил по дороге Франклин, – что публика отнеслась так беспощадно к струсившему принцу. Если бы, например, наездник в цирке почувствовал головокружение, то, без сомнения, публика отнеслась бы к нему с величайшим участием и бесчисленными «браво» постарались бы вознаградить его за эту неудачу. Сегодня же она была в такой ярости потому, что этот человек – принц, а вы, французы, все еще того мнения, что принц иным быть не может, как храбрым и возвышенным, так что принца только потому, что он принц, вы считаете высшим существом, нежели простого наездника, и тут-то я вижу, как вы еще далеки от нашей американской свободы!

Молодой генерал Лафайетт, услышав эти слова, подошел к Франклину и сказал:

– Вы, значит, хотели бы, уважаемый друг и соотечественник, чтобы мы рукоплесканиями уладили герцогу Шартрскому его отсутствие мужества? Положим, в некотором смысле вы, быть может, и правы... Да, да, Франция как в своих взглядах, так и в своих действиях лишь медленно следует за примером, данным Америкой всему миру!

– Точно пение сирены, ласкают слух мой слова генерала Лафайетта, называющего себя и здесь, во Франции, соотечественником американцев, – проговорил Франклин. – О, если бы я мог с тем же правом называть своею Францию, с каким вы называете Америку своею! Право это приобретено вами навсегда вашей храброю рукою, сражавшейся за американскую свободу.

– И в будущем считаю себя никем иным, как состоящим на службе Соединенных Штатов, мой дорогой соотечественник! – возразил Лафайетт с искренней сердечностью. – Всякая дружба и уверения в верности должны быть время от времени подкрепленными, потому и меня вы видите опять готовым к путешествию в Америку. Меня тянет туда, и я не могу уже спокойно сидеть во Франции. Отсюда вы видите, что и я того мнения, что для Франции время еще не наступило. Мне хотелось бы представиться вашему сенату, приветствуя вновь дело Америки и предоставляя навсегда в ее распоряжение свою руку и сердце. Я очень обрадовался, узнав, что увижу вас сегодня за обедом у нашей приятельницы, рассчитывая, что вы возложите на меня много поручений к Ва-

шингтону.

– Да, – отвечал с живостью Франклин, – прежде всего скажите ему, что мы хотели бы опять вынести его из-под тени его виноградников в шум общественной жизни. Он – благороднейший из всех людей нашего времени, и, без сомнения, самой возвышенной чертой его характера было то, что, подобно великому римскому герою Цинциннату, он удалился с мирную сельскую жизнь, как только завершил свою задачу вождя нашей славной революции. Вся Европа была поражена, что Вашингтон вновь превратился в простого гражданина с берегов Потомака. Но миру еще нужен Вашингтон, и бессмертный вождь новейшей революции не может укрываться для разведения капусты или для скотоводства.

– Мне кажется, – весело воскликнул шедший позади них Шамфор, – что отец Франклин сердится на опоздание нашего обеда и из-за того так презрительно отзывается о продуктах сельского хозяйства Вашингтона, хотя нашей милейшей покровительницей было нам объявлено, что между прочими великолепиями мы получим и вашингтонскую ветчину! Не будем же портить этого источника, который, при добром содействии генерала Лафайетта, останется открытым и на будущее время. Я рассчитываю еще на стаканчик того чудного ликера из персиков, получаемого также генералом Лафайеттом с Вашингтонского завода, которым, я надеюсь, мы сегодня довершим наш культ Америке. Недостаточные ли все это причины, чтобы оставить Вашингтон и на будущее вре-

мя вдали от государственных дел?

Все расхохотались от этой забавной выходки Шамфора.

– В самом деле, – заметила с очаровательной улыбкой госпожа Гельвециус, – американский культ за нашим маленьким сегодняшним обедом должен господствовать уже потому, что обед будет прост и составлен лишь из того, что посылает нам природа. Разумеется, я при этом не забыла любимого кушанья Франклина, яиц с горчицей, введенного им впервые в Париже и уже давно не считающегося варварским, а напротив, любимым модным кушаньем.

Бенджамин Франклин стукнул палкой в знак удовольствия и сказал, улыбаясь:

– Вы переполняете меру вашей доброты ко мне; но, с другой стороны, это возобновляет мою печаль, что я не могу всегда быть с вами и закончить жизнь под вашей охраной, мой добрый гений!

Тут они приблизились к приветливой вилле; слуга открыл ворота, и все гости вошли.

Франклин, не получивший ответа от госпожи Гельвециус на свое последнее объяснение, встал со сложенными накрест руками перед домом, задумчиво рассматривая одно место над входной дверью, где были заметны следы находившейся прежде мраморной доски.

– Я только теперь замечаю, дорогой друг мой, – сказал он почти сердито, – что вы велели снять доску, украшавшую фасад вашего дома. На ней была надпись, которую я очень

любил; она прославляла Буало и Жандрона, живших здесь до вас, и была сочинена божественным Вольтером. Я должен побранить вас за это, потому что ни одно слово Вольтера не должно погибнуть, хотя бы самое незначительное слово, вышедшее из кующей молнии мастерской его духа. Ведь всем, что только будет сделано для новой эпохи свободы и равенства, всем мы обязаны Вольтеру. Он – гений, родоначальник нового времени, и американец Бенджамин Франклин как его ученик и поклонник, никогда не перестанет падать ниц при воспоминании об этом бессмертном.

– Надпись немного стерлась, – ответила госпожа Гельвециус, – доска же казалась мне некрепко вделанной над дверью, а потому я велела ее снять и нашла для этого воспоминания более подходящее место в саду. Впрочем, надпись эта гласила о моих предшественниках – владельцах маленького дома, а сегодня мы должны сражаться под нашим собственным знаменем. Не так ли, граф Мирабо?

– Да, – воскликнул Мирабо с силой, – и на этом знамени прелестною рукою госпожи Гельвециус будет вышито слово «свобода»! Но имя Вольтера будет всегда самым могущественным лозунгом, которым объединятся между собою все умы Франции. В своем поклонении Вольтеру наш великий Франклин выразил, конечно, настоящий взгляд на теперешнее положение человечества. Вечно трогательным будет для меня рассказ, о котором я без слез вспоминать не могу, как Франклин привел однажды своего четырехлетнего внука

к Вольтеру и просил благословить его.

– Действительно, это была минута, которую я никогда не забуду! – сказал Франклин, благоговейно сложив руки. – С поистине святым выражением лица Вольтер возложил обе руки на головку мальчика и сказал сильным громовым голосом, проникшим мне до мозга костей: «свобода! Терпимость и честность!»

– Однако пройдем в сад, – сказал Франклин с выражением тихой грусти, – мне бы хотелось увидеть опять мраморную доску, производившую на меня словами Вольтера всегда такое отрадное для сердца впечатление!

– А я предлагаю, быть может, и невежливо, отложить эту церемонию на после обеда, – сказал Шамфор с забавною настойчивостью. – Если же мое предложение не может сейчас быть принято единогласно, то я предлагаю созвать наши голодные желудки на народное собрание и под открытым небом, как это некогда делали рыжие германцы, пустить на голоса.

– Моя же убедительная просьба, – возразила госпожа Гельвециус, – созвать народное собрание голодных желудков не под открытым небом, а в моей столовой.

Все общество без сопротивления последовало за любезной хозяйкой, быстро направившейся к дому. В гостиной слуга подал ей письмо. Поспешно распечатав его, она прочитала и с выражением глубокой печали на лице положила на стол.

– Дидро написал мне, – сказала она, подождав, причем слезы заблестели у нее в глазах. – Он не придет, и кто знает, увидим ли мы его. У меня смутное предчувствие, что ему опять худо, и что встревоженный маркиз Гольбах не отпустил больного друга в Отейль. Как прискорбно, что такой гений, как Дидро, может быть отнят у человечества, им осчастливленного.

– Я видел вчера в Париже Дидро, – сказал Лафайетт, – и посоветовал ему доверить все свои болезни немецкому доктору Месмеру, новый способ лечения которого взбудоражил весь Париж. Но он посмеялся надо мной и сказал, что не может решиться верить в магнетическую силу пальцев, после того как он видел, как мало значит на свете магнетическая сила умов.

– И для генерала Лафайетта, сделавшегося учеником Месмера, это был здоровый урок! – воскликнул граф Мирабо язвительно. – Всякий настоящий человек, как только захочет, может иметь в себе самом магнетическую силу. К чему тут еще немецкий шарлатан? Дело в том, сколько силы воли каждый может вместить в себе, вот и весь магнетизм. Если у меня достаточно воли, то завтра я могу над прекраснейшей девушкой в мире поднять руку и сказать: «Иди за мной! Это я!» И она подчинится таинственной силе моей воли и пойдет за мной, не оглядываясь и не думая ни об отце и матери, ни о всех своих тетках.

Слова эти были встречены общим смехом.

– Если это так, то, конечно, Мирабо был всегда профессором всех магнетических лечений! – воскликнул Шамфор.

– Прошу вас, господа, покончить теперь ваши философские споры! – настойчиво заявила госпожа Гельвециус, приглашая занять место за столом, где кому угодно.

III. Генриетта Гарен

В монастыре, находившемся по соседству со старинной церковью Сен-Жермен де Прэ в Париже, жила уже несколько лет пансионеркой одна молодая девушка, необыкновенная красота которой, приветливость и изящество привлекали тех немногих, которым случалось ее видеть.

Она была родом голландка и звалась Генриетта Амелия Гарен. Имя это принадлежало ей как незаконной дочери Онно Цвира Гарена, прославившегося нидерландского либерального поэта, а также деятельного и сильного приверженца принца Оранского.

По его смерти, последовавшей в 1779 году, Генриетта, в то время четырнадцати лет, была помещена в Париже в монастырь для окончания воспитания и для местопребывания до тех пор, пока жизнь очаровательного ребенка не определится иначе.

Так выросла Генриетта, обладавшая лишь маленькой, оставленной ей отцом рентой, в тиши монастыря, где еще никто почти не видел ее. Теперь, весной 1784 года, ей шел девятнадцатый год, и к тому времени она так пышно развилась душой и телом, что уединение и замкнутость ее теперешней жизни были тем более печальны.

У Генриетты не было в Париже ни друзей, ни родных; никто не заботился о ней, и ее выдающиеся умственные успехи,

равно как вся ее прелесть и красота, никем, по-видимому, не замечались. Монахини и подружки-пансионерки, с которыми ей приходилось жить, обращались с нею без малейшего отличия, и Генриетта свыклась уже со своей мрачной, однообразной жизнью, причем, однако, ни ее умственные силы, ни веселость ее нрава не пострадали.

Единственным ее развлечением был монастырский сад и устраивавшиеся иногда летом маленькие прогулки в Отейль и другие парижские окрестности, в обществе всех обительниц монастыря и под надзором почтенной настоятельницы, графини де Монтессюи.

Последняя подобная прогулка оставила в сердце Генриетты особые воспоминания. В Отейле, когда она гуляла с подругами по полю, она заметила обращенное на нее внимание одного господина, который, идя ей навстречу, едва увидел ее, тотчас же повернул обратно и уже неотступно следовал за нею до тех пор, пока она не села в экипаж для отъезда. В эту минуту его большие глаза, взгляд которых все время преследовал ее и как бы держал в своей власти, проникли в ее душу с каким-то жгучим, удивительным, никогда ею не испытанным впечатлением.

Генриетта была слишком заметным предметом этого назойливого внимания, чтобы не подвергнуться насмешкам ревнивых подруг и строгому нравоучению настоятельницы.

На следующий день незнакомец неожиданно появился у задних монастырских ворот и, по самой невероятной слу-

чайности, она тоже пришла к тому месту, где он стоял, подсматривая и прислушиваясь. Страшно напуганная его приветствием, Генриетта, дрожа всем телом, скрылась в темных аллеях сада. Но в своей одинокой келье она всю ночь напролет была занята этим явлением, которого не в силах была отогнать от своих мыслей, хотя высокая, геройская фигура незнакомца производила на нее скорее отталкивающее, устрашающее впечатление и наполняла ее сердце каким-то беспредельным трепетом.

Это состояние тревоги и страха еще более усилилось после того, как вчера поздно вечером, когда она была еще в саду, она вдруг увидала за липами, у своей любимой скамейки, вышедшего к ней незнакомца. Неотразимым движением, уклониться от которого она не смогла, он приблизился и решился заговорить с нею, и она была бы не в силах не слушать его. Она никогда не думала, что человек может так говорить. Он говорил, а ей виделось над головою пламя, наполнявшее светом весь потемневший уже сад. Но тут же почуяла она страшную опасность быть с ним вдвоем, когда все ее подруги уже вернулись домой. Найдя в себе силу вырвать свою руку из его рук и попрощавшись с ним отрывистыми, едва понятными полусловами, направилась она к монастырю и скрылась прежде, чем смело последовавший за нею незнакомец мог ее нагнать.

Сегодня, в то же самое время, Генриетта сидела в своей маленькой комнате, то предаваясь своим мечтам, то вновь

страшась чего-то. Опустив на руку свою прелестную белокурую головку, она серьезно и усердно думала обо всем, что с нею произошло в последнее время, и со свойственной ей правдивостью сознавала, что есть кое в чем упрекнуть ей и себя. Образ загадочного незнакомца вновь предстал ее воображению, и она стала вызывать, как бы в помощь себе, все неприятные ощущения, возбужденные в ней первым его появлением. Она сознавала, что это были впечатления ужаса, и теперь, припоминая эту сильную, властную фигуру, так удивительно ей встретившуюся, ей казалось, что, скорее всего, это был злой демон, подступивший к ней с мрачными, пагубными обольщениями. Лицо его, каким она видела его в последний раз, осталось в ее воспоминании с чертами отталкивающими, суровыми и дикими. Однако, тут же говорила она себе, вчера, в пылу его речи, когда он так пленительно передавал, почему пришел сюда, лицо его засияло лучезарной красотой, и в ту минуту она сравнила бы его не с демоном, а с божеством.

Но Генриетта решила на будущее стараться возненавидеть само воспоминание о нем и изгнать его из своих мыслей. Прежде всего решила она не ходить некоторое время в сад и отговориться нездоровьем, чтобы можно было не выходить в течение нескольких недель из своей комнаты. Доброе дитя было так искренно и твердо в своих намерениях, что, в подкрепление их, опустилось на колени перед висевшим над кроватью образом Мадонны и прошептало перед ним усерд-

ную молитву своими чистыми устами.

В эту минуту кто-то тихо постучал к ней в дверь, и Генриетта, громко вскрикнув от ужаса, вскочила с коленей, но опять вздохнула свободно, когда дверь открылась и вместо незнакомца, смутно ожидаемого расстроенным воображением пансионерки, в комнату Генриетты вошла одна из монахинь. Это была благочестивая сестра Анжелика, старая монахиня, относившаяся с некоторых пор к Генриетте с особенным, но вместе с тем язвительным и как бы подстерегающим вниманием, так что Генриетта принимала заботы своей приятельницы с некоторым страхом.

Подойдя маленькими шажками и ласково поцеловав Генриетту в лоб, сестра Анжелика заглянула при этом таким пронизывающим и испытующим взглядом ей в глаза, что Генриетта невольно задрожала, как бы испуганная предчувствием дурного известия.

– Я искала тебя в саду, сестра Генриетта, – начала монахиня, – и надеялась найти тебя, тем более что вчера в этом же часу ты была там на скамейке под липами и, кажется, очень приятно провела время. Что значит, мое невинное дитя, что ты сегодня не пошла туда?

– Что это значит? – торопливо и дрожащим голосом спросила Генриетта, причем ее замешательство и тревога делали излишними всякие объяснения.

– Ну, я не буду тебя мучить; ты – милая добрая девочка, но ты находишься в ужасной опасности! – проговорила сестра

строго и торжественно.

С этими словами она взяла Генриетту за руку и посадила ее рядом с собой на диван без малейшего сопротивления со стороны испуганной, едва переводящей дух от удивления и страха молодой девушки.

– В саду под липами сегодня вечером, как и вчера, прекрасно, липы так же чудно пахнут, а возлюбленная заставила там своего рыцаря ждать и ждать напрасно, – прошептала Анжелика таинственным голосом.

– Ты все знаешь, – возразила Генриетта, разразившись слезами, – так знай же, как я мало виновна в этой встрече с незнакомцем, преследования которого я ненавижу и видеться с которым никогда больше не буду. Я дала обет не выходить из этой комнаты, пока не исчезнет всякий след этого ненавистного для меня человека!

– Да благословит Пресвятая Дева обет твой, дочь моя! – ответила монахиня и, сложив руки, наклонилась перед ликом Мадонны и прошептала молитву. Затем, с улыбкой, полной коварства, продолжала: – А я себе обещала по-христиански и добросовестно поддерживать тебя в твоих испытаниях. Вот почему я была близ тебя вчера, когда искушитель подошел к тебе; проведя затем в своей келье всю ночь в молитве за тебя, я была сегодня в то же самое время на том же месте, для дальнейшего наблюдения дела сатаны над тобой. Но прославленный обольститель не нашел сегодня своей жертвы на месте, а я насладились лицезрением того, перед кото-

рым дрожат все женщины Франции и для которого ничто не свято: ни семья, ни дом, ни монастырь, ни храм Божий!

— О ком говоришь ты, сестра Анжелика, скажи, бога ради? — спросила Генриетта, схватив руки монахини и боязливо прижимаясь к ней.

— Неужели ты в самом деле не знала его имени? — спросила Анжелика, значительно усмехаясь. — Ты не знала, что человек, преследующий тебя и уже простерший над тобой свою гибельную руку, что этот всеобщий оболститель, добравшийся и до тебя, никто другой, как граф Мирабо?

— Нет, клянусь, я этого не знала, не подозревала даже! — воскликнула Генриетта в ужасе и вся вспыхнув. Затем, опустив голову на грудь, она предалась своим мыслям, совсем забыв как будто о присутствии благочестивой сестры Анжелики.

— Да, граф Мирабо, — повторила сестра, делая при этом крестное знамение полуторжественно и полутревожно. — Я тотчас его узнала, когда он повстречался с нами в Отейле, а вчера вечером, при луне, осветившей лицо его, я в этом вполне убедилась. Бедное дитя, это и есть граф Габриель Рикетти де Мирабо, взоры которого были самым дьяволом обращены на тебя и который задумал погубить тебя своим адским коварством. Власть его велика, и я боюсь, что ты со своими слабыми силами не сможешь противостоять ему!

— Не беспокойся обо мне, сестра! — возразила Генриетта, очнувшись от своей мечтательности. Выражение ее лица

вдруг изменилось; ясная, осмысленная улыбка оживила его.

— А как же ты узнала, что это граф Мирабо? — прибавила она тихо.

— О, — возразила старая монахиня, — разве я его не видела в монастыре Святой Клары в Гине, где он два раза пытался увезти из нашего монастыря прелестную Софи де Монье! Ты ведь знаешь, что я была в Гине, прежде чем сюда приехала. Несогласия с настоятельницей, пожелавшей моего ухода из этого монастыря, заставили меня уйти. Там я занимала келью рядом с кельей Софи и могу похвалиться, что была доверительницей ее страданий и ее тайн. О, я могла день и ночь читать в этой измученной душе, что значит быть обольщаемой графом Мирабо!

Этот рассказ возбудил живейшее внимание Генриетты.

— Как, — воскликнула она с горящими глазами, — ты была подругой той несчастной Софи, жизнь и страдания которой знает вся Франция? Было ли хоть одно, не лишенное чувства сердце, в котором бы имена Софи и Мирабо не сплетались бы в чудную поэму нежности и страданий от любви! О, расскажи мне все, что ты знаешь о них; моя душа жаждет услышать эту повесть; ничто никогда не интересовало меня так, как судьба Софи и Мирабо!

— Это опасное любопытство, дитя мое, — заметила Анжелика строго. — Настоящее дело дьявола прежде всего и узнается потому, что оно представляется таким привлекательным. Мы, монахини монастыря Святой Клары в Гине, были

в вечном страхе, что граф Мирабо нападет на нас! Мы боялись, что он обольстит нас, увезет и предаст участи, одинаковой со столь тяжело испытанной Софи.

Генриетта, не умевшая иногда сдержать свою веселость даже в самые серьезные минуты, вдруг громко расхохоталась.

– Но он ни разу не приходил совращать ваши почтенные головы и увозить вас? – спросила она, поддразнивая.

– Нет, приходил, приходил! – ответила Анжелика с поспешностью. – Граф Мирабо приходил два раза смущать покой святых кларессинок и разбойнической рукой нарушать наши благочестивые правила и порядки. Он приходил с намерением вновь смутить покой Софи, с таким трудом обретенный ею, вновь покорить ее сердце и заставить бежать с ним бедное существо, все еще находившееся под влиянием его чар. Эти искушения лукавого не могли не потрясти самым сильным образом меня, стоявшую ближе всех к Софи; с тех пор и начались мои страдания грудью, которые скоро сведут меня в могилу.

– Как же отнеслась Софи к этим стараниям своего возлюбленного, она, красота, мужество и дух мученичества которой так прославляются всеми? – спросила Генриетта с мечтательным блеском своих чудных глаз.

– Я тебе все расскажу, как это было, дитя мое! – возразила монахиня. – Ты знаешь, что Софи Монье взяла большой грех на душу, дав себя соблазнить графу Мирабо и увезти от

мужа. Конечно, клянусь своим святым патроном, грех был велик, но, ах, Софи было всего девятнадцать лет, а этому старому маркизу Монье, обвенчанному с нею насильно, волею ее матери, было уже почти восемьдесят. Это могло только вызвать со всею силою искушения плоти; и вот дьявол послал для этого одного из своих самых блестящих любимцев в образе графа Мирабо, привезенного для заключения в замок Жу близ Понтарлье.

– Это каждому ребенку во Франции известно, моя добрая сестра Анжелика! – воскликнула Генриетта, нетерпеливо ее перебивая. – Кто себе не рассказывал из этой чудной сказки, как Софи и Мирабо встретились и полюбили друг друга, как граф Мирабо, силою закона подвергнутый насилию своего деспота-отца, в ней нашел своего ангела, который должен был вознаградить его за долгое и суровое страдание в темнице? Он похитил ее, освободив ее и себя от презренных оков, и жил со своей подругой в Амстердаме, в сладкой идиллии, пока высланные вслед за ними сыщики не настигли их там и не привезли Мирабо в Венсеннский замок, а несчастную Софи, по настоянию жаждавшего мести маркиза Монье, в монастырь в Гине!

– Как ты все хорошо помнишь, бедная дочь моя! – вздохнула Анжелика. – А это опасно, очень опасно знать все это, верь мне! Но, конечно, граф Мирабо достаточно постарался над разглашением всех этих историй перед целым миром путем всевозможных мемуаров и сочинений, изданных им

о своих похождениях, искусстве обольщать и о своем коварстве!

– Извини, мне кажется, ты обижаешь его! – поспешно и горячо возразила Генриетта. – Он выпустил в свет свои мемуары лишь после того, как освобожденный из Венсеннского замка, благодаря смягчившемуся наконец гневу отца, он вновь явился сам, как пленник, в Понтарлье, желая, чтобы его процесс и произнесенный над ним приговор были пересмотрены судом. Тогда-то он выпустил свою защиту в свет, которую наш доктор недавно давал мне прочесть и которая так чудно написана, точно это мелодии, вылившиеся из-под руки великого артиста. И разве судьи, прежде осудившие его, не были вынуждены сами признать из этой защиты, что смертный приговор, произнесенный над ним за похищение Софи, был несправедлив и должен быть отменен? И не было ли при этом единственной целью Мирабо повлиять своими защитительными воззваниями на освобождение Софи и убедить в ее невинности всех ее обвинителей?

– Нет, нет, – с горячностью возразила сестра Анжелика, – это только казалось его целью, а на самом деле, когда он старался представить свои отношения к Софи невинными, ему было важно лишь свое собственное освобождение, которого он добивался в надежде побудить этим вновь к сожительству с ним свою жену, Эмилию де Мариньян, покинувшую его за это ужасное поведение. Он хотел снова завладеть этой женщиной, или, вернее, ее состоянием, чтобы с его помощью от-

крыть себе новое поприще в жизни. Но эти расчеты не оправдались. Процесс в Понтарлье хотя и был прекращен, однако никакой отсюда выгоды для графа Мирабо не вышло. Да, в прошлом году, по суду и закону, жена его получила развод.

– Это правда, – заметила Генриетта тихо и краснея, – я забыла, что граф Мирабо был женат и оспаривал состояние своей жены... Но ведь это значит, – прибавила она через минуту, – что он опять отвернулся от Софи и что отношения между ними, казавшиеся заключенными на веки, были опять разорваны. Впрочем, ты хотела мне рассказать про Софи и про посещения графа Мирабо в вашем монастыре?

– Да, этих ужасных посещений я никогда не забуду! – вздохнула монахиня, бросив набожный взгляд на лик Мадонны, в надежде найти в нем утешение и поддержку.

– Во время своего обоюдного заключения Мирабо и Софи писали друг другу самые великолепные письма. Пользуясь безусловною доверенностью Софи, я читала некоторые из них, и я же пересылала ее письма венсеннскому узнику. Но вдруг граф Мирабо получает свободу, и столь когда-то сердечная и страстная, а в последнее время будто расстраивавшаяся переписка принимает сразу совершенно иной характер. Граф Мирабо стал ей писать жестокие письма, полные раздражения и ревности, и госпожа Малеруа – имя, принятое Софи в монастыре из ненависти к имени своего мужа, – с меньшей горечью стала отвечать на них. Мирабо упрекал ее в измене, приписывая ей недозволенную связь то с ее

духовником, то с другими лицами, которых она принимала в своей келье. Правда, что самые выдающиеся люди в Гине, привлеченные ее любезностью и кротостью, ежедневно навещали ее, выражая ей всячески свое внимание и поклонение, но не было никого, ручаюсь в этом, кто бы оправдывал обвинения, возводимые на Софи графом Мирабо. Она говорила, что Мирабо только разыгрывает роль ревнивого, чтобы иметь повод к разрыву с нею. Общим другом обоих был наш монастырский доктор, Изабо, желавший примирить Мирабо и Софи. Он старался устроить свидание между ними, на что Софи решилась, несмотря на мои самые убедительные возражения. Но доктор Изабо настоял на своем, сам поехал к графу Мирабо в Ножан-сюр-Верниссон, снабдил его одеждой и корзиной с товаром мелкого торговца и в таком виде ввел его в келью Софи. Она заставила меня, свою единственную поверенную, присутствовать при их разговоре, чтобы не получить впоследствии упрека в каком-либо неприличии в стенах монастыря. Тотчас же, вслед за коротким приветствием, начались самые бурные объяснения между возлюбленными. Мирабо с невероятною силою взводил на нее обвинение, которого, однако, ничем доказать не мог. Сперва Софи защищалась с небесною кротостью; затем, отвечая все более и более энергично, стала упрекать его в том же самом, причем в ее обвинениях не было недостатка в неопровержимых доказательствах. А именно, в то самое время, когда из Венсеннского замка Мирабо писал такие пламенные пись-

ма своей Софи, он поддерживал сношения с двумя другими женщинами, которым тоже сумел вскружить головы. Одной из них была жена губернатора в Венсенне, другую же одна из принцесс Франции, назвать которую я не смею.

Вскоре эта принцесса, столь страстно им заинтересованная, сумела облегчить его участь. Своим влиянием она устроила то, что он мог хоть изредка выходить из замка и ездить в Париж, а в скором времени и полное освобождение графа Мирабо было приписано, главным образом, ее заступничеству. Вот это все было ему высказано теперь Софи с беспощадною откровенностью. Мирабо был в ярости, голос его, подобный львиному рычанию, привел в ужас весь монастырь. Монахини по своим кельям, коленапреклоненные, молились, думая, что это сам искуситель ворвался в овчарню. Никто не отважился идти против него. Так, наконец, и расстались они, взаимно ожесточенные и не восстановив между собою сердечного согласия.

— О, как это все печально! — воскликнула Генриетта, тяжело вздыхая. — А с тех пор Мирабо и Софи разве не встречались мирно? — прибавила она тихо дрожащим от ожидания голосом.

— Тогда в монастыре мы ежедневно трепетали, боясь, что он вернется! — ответила сестра Анжелика. — Но прошло некоторое время, прежде чем добрая маркиза получила кое-какие сведения о Мирабо. Ревность его, по-видимому, утихла, и он предлагал Софи помириться и дать себя увезти; она же

была так слаба и полна любви, что согласилась на задуманное им. Видя, что я, ради ее же вечного спасения, встаю против этого, она стала чуждаться меня с упорным молчанием. Но я удвоила свою бдительность, чтобы спасти ее, и, подслушав, узнала скоро все, о чем они условились между собою. Мирабо сумел добыть оттиск нашего монастырского ключа и прислал Софи ключ, которым она должна была ночью открыть себе ворота. День и час бегства были назначены. Мирабо стоял за монастырской стеной, ожидая свою прекрасную беглянку. Но я, подкрепив себя к тому молитвой, выдала все нашей настоятельнице. В ту самую минуту, когда Софи собиралась открыть ворота, она была удержана рукой абэссы. Граф Мирабо едва успел убежать от высланных против него монастырских слуг. Я же в тиши вкушала торжество праведницы, спасшей Софи от гибельного для нее возобновления связи с Мирабо.

– А с тех пор граф Мирабо не пробовал больше овладеть своею Софи? – спросила Генриетта, погружаясь в мечтательную задумчивость.

– Мирабо и Софи разлучены навсегда, – возразила монахиня торжественно. – Даже после того, как несколько месяцев тому назад Софи возвращена полная свобода, граф Мирабо, говорят, не приближался к ней и вовсе о ней не думал.

– Как, маркиза де Монье выпущена из монастыря? – спросила Генриетта с тревогой.

– Смерть ее мужа, маркиза де Монье, освободила ее на-

конец, – сказала сестра Анжелика. – По условию, уладившему процесс Мирабо в Понтарлье, она должна была подписать обязательство, что не покинет монастыря, в котором находится, ранее смерти своего мужа. Когда же он умер, Софи наняла домик в Гине, рядом с монастырем, служившем ей так долго убежищем и утешением и даже соединенным с ее жилищем особым ходом. Стол она тоже имела у благочестивых кларессинок, не желая расставаться с ними и возвращаться в свою семью, от которой видела только плохое. Так эта бедная страдальца обрела на приветливых берегах Луары свою родину и мир, и да благословит ее Господь, хотя после того случая она и стала моим врагом.

Сказав это, Анжелика начала шептать тихую молитву, и Генриетта, повинуясь ее строгому взгляду, благоговейно последовала ее примеру.

– В эту минуту я молилась за тебя, чтобы охранило и защитило тебя от графа Мирабо! – сказала Анжелика, вставая. – К тебе подкрался самый опасный безбожник, и я сочла своей обязанностью оберегать тебя.

– Благодарю тебя, – возразила Генриетта, причем щеки ее опять зарделись ярким румянцем. – Твое намерение прекрасно, и я постараюсь заслужить его, хотя, быть может, опасность и не так велика, как ты думаешь.

– Ты полагаешь так потому, что граф Мирабо безобразен? – с горячностью возразила монахиня. – Это уже есть начало греха с ним, если кто считает себя от него в безопас-

ности. Действительно, в первую минуту его обезображенное оспой, дикое лицо производит ужасное впечатление и ноги подкашиваются при виде этой широкоплечей, могучей фигуры. Но этот внушаемый им ужас и есть настоящее чарующее средство, данное ему сатаной, чтобы он мог неминуемо губить всех, кого захочет. Я сама, увидев его несколько раз, начала было испытывать, как этот ужас мало-помалу, в глубине сердца, превращается во что-то совершенно противоположное и светлое. А теперь спокойной ночи, сестра Генриетта! Уже поздно.

С этими словами она поспешно удалилась, оставив Генриетту в маленькой келье в самом возбужденном состоянии.

IV. Мирабо и Генриетта

Генриетта, одна в своей комнате, сидела неподвижно все на том же месте, а воображение уносило ее вслед за рассказами сестры Анжелики. Наступила ночь; глубокая тишина окружала забывшееся в своих мыслях дитя; лишь из монастырского сада, куда выходило ее окно, деревья навевали ей страшные мелодии. Внезапно очнувшись от своих мечтаний, она стала прислушиваться и бояться, сама не зная чего. Какой-то страшный шепот и движение доносились, казалось ей, сквозь живую изгородь сада.

Вскочив с места и поспешно направляясь к открытому окну, Генриетта плотно закрыла его, зажгла свечу и стала боязливо оглядывать все углы комнаты. Тут она поняла, что ее испуг – игра воображения, и что там, внизу, только усилившийся ночной ветер шелестит по аллеям сада. Улыбаясь своему ребячеству, она села и принялась за чтение недавно начатой книги. Но ей не удавалось сосредоточить своего внимания. Отбросив книгу, она снова, прислушиваясь, подошла к окну. Теперь уже ее тонкий слух ясно улавливал какой-то шепот в саду.

В ту же минуту она услышала тихий шорох у двери и вздрогнула, слегка вскрикнув от ужаса. Первым ее движением было защелкнуть дверь, но какое-то смутно просвечивающееся в душе ее чувство удержало ее от этого.

Дверь растворилась и в неосвещенном конце комнаты появился человек, которого Генриетта, едва владеющая собой и едва стоя на ногах, тотчас узнала.

– Это он! Граф Мирабо! – тихо прошептала она, отстраняясь рукой, как бы для защиты.

– Вы знаете мое имя, Генриетта! – воскликнул он торжествующим голосом и быстрым, неудержимым порывом приблизился к ней и схватил ее руки.

Генриетта, лишенная воли, не сопротивлялась, а он прижимал ее руки к своей груди и губам. Сознание, что она выдала себя, произнеся его имя вырвавшимся у нее криком ужаса, доводило ее замешательство до крайности. Ей казалось, что она потеряла в своем сердце всю силу сопротивления ему.

– Генриетта, – вновь начал граф Мирабо, со страстью глядя на нее, – я счастливейший из людей, потому что вижу, что тем временем вы думали обо мне. Я не хочу разведывать, кто вам выдал имя Мирабо. Да и какое значение может иметь имя, прославившееся до сих пор лишь своими страданиями и преследованиями! Но оно может подняться и воссиять во всем блеске новой жизни, которая начнется для Мирабо, если ты захочешь этого, Генриетта! Тебе, конечно, сказали то, что вся Франция знает, как мучили, пытали и травили до сих пор графа Мирабо! И вдруг теперь участь моя в твоей руке, Генриетта! Ты усмиришь бушующую бурю моей жизни и твоими милосердными устами произнесешь над нею вечный

мир любви!

Генриетта молчала, опустив голову на грудь, и слушала его, неподвижная, как изваяние. Она как будто боялась, что малейшим движением ускорит решение той силы, которой чувствовала себя подчиненной. Но если в страхе она была способна оставаться неподвижной, то не могла удержать быстрого и сильного биения пульса в дрожащих руках, которые он крепко держал в своих, а это биение красноречивее всяких слов говорило ему о ее душевном состоянии.

– Повтори мне еще раз то слово, которым ты меня приветствовала, Генриетта! – воскликнул Мирабо, привлекая ее ближе к себе. – Скажи еще раз: это он! И я прочту в этом блаженное для меня признание, что ты всем сердцем отдаешься мне и хочешь следовать за мной, чтобы никогда меня не покидать, а оставаться навсегда в любви и верности, и следовать за мной сегодня же, сейчас!

Генриетта слегка покачала головой, не освобождая своих рук и не произнося ни слова. Только бессознательная, полная предчувствий улыбка скользнула по ее лицу с выражением скорее зарождающегося счастья, нежели сильной борьбы.

– Ты не хочешь мне отвечать, – начал опять Мирабо самыми ласковыми звуками своего глубокого, чудного голоса, – но ведь сердце твое открыто передо мною; и если уста твои отказываются еще раз сказать мне это он, то сердце твое, когда к нему я обращусь, молча подтвердит мне это. Да, это он, он, который, раз увидя тебя, не мог уже больше не думать о

тебе и осмелился ворваться к тебе за эти монастырские стены, чтобы звать, требовать тебя! Это он, тот, что, одушевленный твоею молодостью и красотой, постучался к тебе, чтобы возвратить тебя цветущей, светлой жизни, которой ты принадлежишь всею твоею прелестью, всем твоим очарованием. Он это, желающий вынести тебя на своих сильных и верных руках из этой монастырской тюрьмы и открыть тебе двери жизни! Иди же скорей, следуй за твоим другом, который любит тебя. Все уже готово, и твои тюремщики, купленные мною, не задержат нас, будто и не видя нашего бегства.

Генриетта молча и испытующе заглянула ему в лицо, желая прочесть на нем серьезность и верность его намерений. И увидала она свет правды и любви, подтвердивший ей все, чего она втайне желала, и чему могла довериться, казалось ей, как незыблемой скале. Дикое выражение его лица, приводившее ее в трепет, сменилось выражением самой сердечной нежности и кротости, и если он представлялся ей еще подобием льва, обладающего безграничною силой, то вместе с тем она сознавала всем существом своим, что этот лев готов преклониться перед ее взглядом и словом и отдать себя в ее руки.

Мирабо опять посмотрел ей пристально в глаза и сказал: — Так иди же, Генриетта, настала пора покинуть это место. Иди! Там твоя свобода, воздух, будущность и счастье! На меня смотри только как на своего слугу, который будет верно сопутствовать тебе, чтобы добыть счастье твоей юной

жизни, бесправно похищенное и сокрытое от тебя. Пройдет несколько часов, и ночь, нас окружающая, сойдет со своих черных коней, чтобы преклониться перед восходящей утренней зарей. И при первом солнечном луче, который завтра осветит тебя, ты увидишь себя в розовом блеске свободы, никогда еще тобою не виданном; ты будешь иначе дышать, мыслить и чувствовать, чем до сих пор, и должна будешь признать за Мирабо, что он отвоевал тебе, обиженной и одинокой девушке, право твоего существования и спас драгоценное сокровище – юность твою!

Генриетта все еще медлила с решением, или, вернее, не смела высказать решения, едва сознаваемого ею самой.

– Прежде всего возьми шаль и мантилью и хорошенько укутайся, ночь холодна, – сказал Мирабо, почти повелительно указывая ей взглядом своим, сопротивляться которому она была не в силах, на то, что ей нужно делать.

Генриетта машинально следовала за этими взглядами, указывавшими на стенной шкаф. Прямо, едва шевелясь, она, как лунатик, повинуясь тайно действующей в ней воле, направилась к стене.

Взяв шаль и мантилью из шкафа, она держала их еще с минуту в нерешительности, как бы стараясь что-то вспомнить. Но Мирабо, быстро подойдя к ней, окутал ее теплою шалью, крепко обняв при этом дорогое создание.

Генриетта стояла неподвижно. Длинные ресницы совсем опустились и скрыли ее взоры.

– А теперь возьми шляпу и вуаль, мое дорогое дитя, и покрой твои чудные светлые кудри, потому что на дворе сильный ночной ветер! – продолжал Мирабо своим поразительно властным голосом.

И этому его приказанию Генриетта повиновалась тотчас же; быстрым движением руки закрыв лицо вуалью, стояла она, вся укутанная, как бы в ожидании его дальнейших приказаний.

Мирабо смотрел на нее со страстным восторгом, а она и под вуалью чувствовала, как он пожирал ее огнем своих пылающих глаз, и, точно увлекаемая каким-то электрическим лучом, стала всматриваться внутрь себя самой.

– Не забудь еще, Генриетта, – начал опять Мирабо, – взять с собой все, чем ты еще дорожишь здесь из твоего маленького имущества.

При этих словах Генриетта громко вздохнула, и теперь внезапная торопливость овладела ее до сих пор будто окоченелыми членами. Она быстро подошла к шкафу, украшенному старинною резьбой, озабоченно и поспешно стала в нем выдвигать ящики, один за другим, усердно роясь в них. Прежде всего взяла оттуда золотой, унизанный жемчугом медальон с портретом своего знаменитого отца. Благоговейно поцеловав его, она, с сияющим радостью лицом, спрятала его на груди. С этой минуты она казалась себе более обеспеченной и обнадеженной.

Побледневшие щеки вновь оживились румянцем, и в пер-

вый раз она взглянула своими лучистыми глазами на Мирабо. Как очарованная, смотрела она на него, будто пробуждаясь ото сна, и, слегка кивая головой, выражала свое счастье, свое блаженство, что пробуждение не разрушило сна, а чудом превратило его в истину здесь, перед его очами.

Но вот она опять легкой поступью газели направилась к резному шкафу, взяла оттуда маленькую шкатулку и быстро, почти радостно подойдя к Мирабо, смотревшему на нее с восторгом, подала ее в руки ему, взглядом дав понять при этом, что она поручает ему сохранность содержимого. Во всем этом было что-то столь трогательное и покорное, что граф Мирабо упал к ее ногам и с бурными ласками стал покрывать поцелуями ее руки и платье.

Однако кроме невольно вырвавшегося у нее при его входе в комнату восклицания, Генриетта не проговорила к нему еще ни одного слова. Между тем ей казалось, будто долгие переговоры велись о целой ее жизни, и при этом все, что в душе ее жило и теснилось, было высказано так полно, что ей более нечего прибавлять; она может только молча блаженствовать в его присутствии.

Но Мирабо хотел услышать из ее уст слова, о которых уже раньше умолял ее. Обняв ее и касаясь ее щеки, он тихо спросил:

— Готова ли ты следовать за мною, доверишься ли мне так, чтобы один из нас жил в другом, и чтобы, живя одним дыханием жизни, мы никогда не разлучались, а вечно принад-

лежали друг другу?

Генриетта молчала, а в глазах ее заблестели слезы.

– Я ли это, который пришел первым за сокровищем твоей любви? – спрашивал далее Мирабо с нежной настойчивостью. – Мирабо ли тот, кому ты обручилась в своем сердце и с кем ты связала себя? Он ли тот, с кем ты охотно пройдешь весь мир, и может ли он быть уверен в твоём прощении, твоей любви и милосердии?

– Это он! – прошептала Генриетта едва слышно и опять, будто испуганная, отвернулась от него.

– Ты вымолвила слово! – с бурным как всегда ликованием воскликнул Мирабо. – Ты сказала его, Генриетта, и оно заключило наш сладкий союз. А теперь идем! Пусть двери всех тюрем во Франции откроются любовью и свободой, как я открываю тебе твои двери, через которые ты никогда более не возвратишься в это заточение тела и души!

С этими словами он широко раскрыл двери перед нею, пропуская ее вперед, и, чтобы она была уверена в своей свите, высоко поднял руку над ее головой, дотрагиваясь пальцем до ее темени.

Генриетта, которой придавали храбрости сильная защита его руки, шла не робея и не мешкая по длинному монастырскому коридору, выходявшему на главную лестницу. Хотя шаги беглецов слегка отдавались в стенах, однако спавшие обитательницы келий не были разбужены ими. Все было тихо, и Мирабо с Генриеттой дошли благополучно до мона-

стырских ворот. Ворота были открыты, а старой привратницы не было видно.

Они вышли поспешно на улицу. В маленьком переулке, в расстоянии нескольких минут, их ожидал экипаж. Слуга графа держал дверцу открытой. Мирабо усадил Генриетту в экипаж, быстро умчавшийся в ночь.

V. Таинственное дитя

Экипаж остановился близ Бастильской площади, на улице Ла Рокетт, где с некоторых пор жил граф Мирабо. Первые лучи солнца, пробиваясь сквозь светлеющий горизонт, осветили маленький узкий дом, в который Генриетта вступала под руку с Мирабо, несколько замедляя свои шаги. В первую минуту при виде мрачного и бледного домика, в который они входили, она почувствовала себя как бы обманутой в своих возбужденных воображением ожиданиях, обещавших ей блестящий графский замок. Но один лишь взгляд на Мирабо, заботливо сопровождавшего ее по скользким каменным ступеням узкой лестницы, вновь показал ей все в радужном сиянии, и она с бьющимся от счастья сердцем вошла в помещение первого этажа, открытое перед нею слугою Мирабо.

Хотя две первые, смежные между собою комнаты были довольно обширны, однако необыкновенная их пустота, где чувствовался недостаток даже в самой необходимой мебели и других предметах жилого помещения, производила почти неприятное впечатление. При таком странном отсутствии вещей в комнатах графа Мирабо не могло, кажется, быть и речи о беспорядке в них, однако же и он бросался в глаза: немногие столы и стулья были завалены книгами, бумагами и всевозможными предметами, а разбросанные по полу рукописи и платье достаточно свидетельствовали о неаккурат-

ных привычках обитателя этого жилища.

Граф Мирабо с тех пор, как он променял свои несчастные странствования на пребывание в Париже, не успел еще устроиться подобающим его положению образом. Полнейшая неуверенность в будущем, которое он собирался устроить себе сизнова, а еще больше совершенное расстройство его финансовых обстоятельств приучили его к бивуачной жизни, никак не подходящей для потомка одного из старейших и знаменитейших дворянских родов Прованса.

Однако даже среди более чем скромной домашней обстановки Мирабо сумел сохранить блеск некоторых аристократических привычек. Он не только держал слугу, но еще одевал его в такую великолепную богатую ливрею, что нужда господина не могла быть замечена при виде слуги. Кроме того, он имел секретаря, услугами которого пользовался при своих обширных с некоторыми пор литературных работах, и который помещался в задней комнатке, непосредственно соединенной с помещением Мирабо. Как раз в эту минуту раскрылась дверь соседней комнаты и, обвязанная красным платком, в виде тюрбана, голова молодого человека выглянула с любопытством и улыбкой в полуоткрытую дверь.

– Вы не нужны, господин Гарди, – обратился к нему Мирабо, жестом руки заставляя секретаря снова удалиться.

Генриетта была бледна и измучена. Мирабо приглашал ее пойти в соседнюю комнату, где она найдет приготовленным все необходимое для отдыха. Но Генриетта выразила жела-

ние не оставлять его. Утомленная, она опустилась на диван, — одно из немногих удобств в комнате, — и стала пристально смотреть на Мирабо своими кроткими блестящими глазами, а прелестное лицо ее, бледность которого вновь сменилась нежным румянцем, приняло выражение мечтательное и сияющее радостью.

Посреди комнаты за столом, на котором тем временем слугою был подан завтрак, сидел Мирабо. На неоднократные приглашения принять участие в завтраке Генриетта отвечала отказом, продолжая сидеть в отдалении. Но мечтательно следившими за ним глазами она находилась неотступно возле него и с восхищением наблюдала за всеми его движениями.

Окончив, по обыкновению, беззаботно и небрежно свой завтрак, Мирабо опять сел у ее ног, нежно взял ее руку и стал пытливо смотреть ей в глаза.

— Я последовала сюда за вами, — обратилась она к нему едва слышным голосом, — и не спрашиваю, что со мною будет, так как я по доброй воле предала свою судьбу в ваши руки. Но чувствую, что я вся в вашей власти. Иначе поступить я не могла, действуя под влиянием какой-то неодолимой силы. Не лишите ли вы меня когда-нибудь за это вашего уважения, граф Мирабо? Не осудите ли меня втайне за то, что, забыв все заповеди и обязанности, я, по одному вашему слову, беспрекословно последовала за вами?

В первый раз обратилась она к нему со связной речью. До

сих пор она выражала лишь отрывочными звуками то, что происходило в ней и что сделалось по отношению к нему сильнее всех побуждений ее строгой всегда и во всем совести.

— Ах, Генриетта, — со страстью в голосе воскликнул Мирабо, — и этими сомнениями ты делаешь меня счастливым! Они тоже своего рода признания в любви. Тем, что ты с полным доверием последовала за мной, ты навеки обратила меня в своего должника и раба, и никогда благодарность моя не уменьшится и не перестанет лежать у твоих ног, в какое бы положение изменчивая судьба ни бросила нас. Что такое уважение, Генриетта? Отравленное орудие общественного предрассудка. Деспоты и привилегированные классы требуют уважения к своему исключительному положению, потому что, обиженные Богом, они не в состоянии основать его, это положение, на любви и свободе. То, что я был бы принужден уважать, я мог бы и презирать. Мы с тобой, моя дорогая, новые люди любви и свободы, и если мы свободно любим друг друга, по заповедям Бога и природы, то уже мы достойны уважения один другого. Под нашим же небесным троном где-то там, глубоко во прахе, пусть себе барахтается уважение или презрение толпы!

Внимательная и счастливая, Генриетта слушала его и только что хотела в ответ сказать что-то, как послышался тут же рядом громкий крик ребенка. С истинным ужасом вско-чила она и посмотрела на графа Мирабо с выражением та-

кого явного смущения, что он громко засмеялся.

– Это мой маленький Люкас кричит там, – сказал Мирабо. – Если хочешь, Генриетта, навестим его; мне бы очень хотелось представить тебе и этого маленького домочадца. Мальчишка развивает уже, как видно, свой сильный грудной голос, который доносится сюда.

С этими словами он встал, быстро подвел Генриетту к двери и проводил ее по маленькому коридору в заднюю комнату своего помещения. Здесь стояла колыбель, а в ней лежал цветущий, приблизительно двухлетний мальчик. Хотя именно в эту минуту он находился, как видно, в неприятном разладе с няней, однако поражал своей необыкновенной красотой и прелестью. Генриетта нерешительно вошла в комнату, но тотчас же с улыбкой восхищения и с сильно зарумянившимся лицом подошла к колыбели прелестного малютки. Посмотрев на Мирабо, она увидела на его лице выражение такой трогательной нежности, какую едва ли можно было представить себе на этих страстных чертах.

Няня, молодая девушка в провансальском костюме, по знаку Мирабо взяла ребенка на руки и держала его для приветствия, которое со стороны графа сопровождалось такими оживленными ласками и заигрываниями, что ребенок не только тотчас успокоился, но и перешел к радостному и необузданному ликованию.

– Это мой маленький прелестный Коко, которого имею честь тебе представить, – сказал Мирабо Генриетте, с тру-

дом освобождая свои волосы из захвативших их маленьких ручек мальчика.

— Я его усыновил, хотя и не дал ему своего имени, — продолжал Мирабо, не переставая ласкать и целовать ребенка. — Его зову Люкас Монтиньи, и это необыкновенно веселая птичка, а вместе с тем и очень честный малый. Он может равно забавно кувыркаться, как и выслушивать с самым серьезным видом, когда ему толкуют, что он скоро сделается разумным, и что терзаемая своими тиранами Франция надеется найти в нем своего избавителя и мстителя.

Эта шутка Мирабо была им сказана с такою оригинальною прелестью, что Генриетта, сильно взволнованная, притянув ребенка к себе, не могла удержаться, чтобы при этом сердечно и нежно не пожать оцарапанную мальчиком руку Мирабо.

Взяв на руки веселое дитя, которое немедленно с нею познакомилось, она стала с участием, доходившим до восторга, разглядывать его и, кажется, втайне искать сходства с Мирабо. Глаза ее радостно сияли при виде красоты ребенка, и она не переставала ласкать его. Но вдруг, положив мальчика обратно в колыбель, она, опечаленная, поникла головой и задумалась. Мирабо, смеясь, заставил ее очнуться и, грозно подняв указательный палец, стал увещевать ее бросить посторонние мысли и вновь вернуться к нему и к действительности.

Генриетта, несколько испуганная, со вздохом приняла предложенную ей руку для выхода из детской.

– Теперь Люкас Монтиньи опять уснет, – сказал Мирабо спокойным и приятным голосом, который после его только что строгой речи прозвучал новою прелестью для слуха Генриетты.

– Оставим же его одного и вернемся к себе. Я обрел сейчас отрадную уверенность, что отныне мы втроем, Мирабо, Генриетта и Коко, составим счастливую семью. Не правда ли, Генриетта, ты будешь для этого плутика, которого я люблю выше всякой меры, небесным провидением, под крылом которого ему удастся сделаться правдивым, настоящим человеком? Мы с тобой будем ведь отныне неразрывно связаны, не так ли? Так прими же маленького красавца, рождение которого покрыто тайной, в число остальных богов любви нашего союза. Согласна ли ты, Генриетта?

В ответ она многозначительно кивнула головой. Когда же они вернулись в свою комнату, то в избытке переполнивших ее чувств она бросилась в его объятия.

– И это твой сын, Мирабо? – прошептала она, с робостью и застенчивостью глядя на него.

– Весь маленький человек – тайна, как я уже сказал тебе, Генриетта! – возразил Мирабо уклончиво.

– Он сын Софи де Монье или графини Мирабо? – продолжала вопрошать Генриетта почти с мольбой, потому что сердце ее начинало испытывать самое тяжелое из всех мучений, мучение неизвестности; для душевного же спокойствия ей казалось необходимым раскрыть тайну загадочного появ-

ления ребенка.

— Ах, невинное дитя мое, — возразил он с улыбкой, — вижу, что необычайные любовные истории Мирабо проникли и в твой монастырь. И куда только они не проникали! Так, что ты знаешь, как сильно когда-то Софи и Мирабо любили друг друга? Это была любовь двух мучеников общества, очутившихся рядом из-за страха к жизни и которые, обрекая себя на гибель в бурных житейских волнах, ухватились один за сердце другого, как за якорь спасения. Благодаря жестокости своих родных она была скована с дряхлым, отвратительным старцем, навязанным ей в качестве мужа; я же, будучи в силу чудовищного и достойного проклятия закона жертвой насилия родного отца, таскался целыми годами из одной тюрьмы в другую. В Понтарлье, последнем месте моего заключения, я увидел Софи, и мы полюбили друг друга. Мы любили один в другом свободу, счастье и погубленную молодость. Вот в какое бедственное мгновение наши судьбы слились вместе. И могло ли оно быть иначе? Сначала мы бежали каждый отдельно и лишь на границе Швейцарии встретились как счастливые союзники. Но наш союз был для обоих нас источником горьчайших страданий и преследований, верь мне! В Голландии мы пожили, правда, несравненную жизнь любви; однако и здесь был, в известной степени, искусственный обман. Мы никогда не могли вырвать из души нашей жало, что любовь наша есть лишь новый удар судьбы для нас обоих. Среди этого счастья и вместе страданья на-

стигла нас рука полицейской власти, высланной в погоню за нами; меня потащили в Венсенн, а Софи в монастырь в Гинне, где в скором времени у нее родилась дочь, единственный отпрыск нашей любви. Но ребенка через несколько месяцев не стало, он умер, и от нашей полной страданиями любви, разлетевшейся, как мечта, не осталось ничего, кроме ткани поэтических мыслей, которую в наших письмах мы растягивали от монастыря до тюрьмы и которая, быть может, займет однажды между произведениями нежных сердец классическое место! Но мое сокровеннейшее сердце, Генриетта, осталось девственным для новой, настоящей любви, для любви к тебе, и в ней все мое существо обновится и вновь сделается юным! В этом маленький крикун, Люкас Монтиньи, не должен нам быть помехой.

Генриетта следила за его рассказом с самым страстным вниманием. Каждое его слово было для нее так важно и полно содержания, что она, казалось, брала их глазами с его уст и прятала в глубине сердца. Слушая и глядя на него, лицо ее светилось пламенным благоговением и готовностью следовать его велениям, которые должны решить ее участь.

Хотя Мирабо достиг уже зрелого возраста, недавно ему минуло тридцать пять лет, однако избыток молодости еще соединялся в нем с величием силы и изяществом в такой степени, что уничтожал всякое впечатление его пресловутого безобразия. В эту минуту Генриетта больше, чем кто-либо, испытывала на себе все волшебство его личности и с трепе-

том склонялась перед нею, как покорное дитя.

Однако ее сомнения не вполне рассеялись. С минуту постояв в раздумье, она опять с мольбой и вопросительно глядя на него, сказала тихо:

– А графиня Мирабо?

– Графиня Мирабо? – повторил он, вздрогнув. – Эта прекрасная графиня ни малейшего отношения ко мне не имеет, равно как и к нашему сожителю, маленькому Люкасу. Эмилия де Мариньян никогда меня не любила, и в то время, когда я нуждался в ней, когда кроткая и улаждающая рука женщины могла помочь, я видел лишь железную твердость ее характера. Женитьба моя была одна из глупостей моей молодости. Но мне в то время был только двадцать один год, и совершил я эту глупость, желая после рассеянной и полной приключений жизни исполнить настоящее требование моего отца и обратиться в сельского хозяина в Провансе, честно возделывая родную землю в наших поместьях. Быть может, я был бы тоже хорошим солдатом, так как семнадцати лет я был уже офицером и участвовал в походе в Корсику; но при скупости и недоброжелательстве моего отца я не мог ожидать, чтобы он купил мне полк. И вот я задумал попробовать сельской жизни возле богатой и красивой жены, и Эмилия де Мариньян стала моей женой. Но мир этой новой жизни оказался такою же обманчивой мечтой, как и состояние моей жены, принадлежавшее будущему, а теперь выражавшееся лишь в ежегодной ренте в шесть тысяч франков.

Эта печальная жизнь с нею продолжалась только два года, в течение которых при моем несчастном таланте делать долги я натравил на себя целый сонм кредиторов, требовавших с меня более ста тысяч франков. Это было новым поводом для моего жестокого отца взмахнуть опять надо мною бичом *lettres de cachet*⁹, убивающим даже в лоне семьи личную свободу во Франции. Он добыл новое повеление арестовать меня и опять держал меня в разных тюрьмах и крепостях, смотря по тому, довольно ли они были мучительны и крепки. Тут и Эмилия покинула меня, отказываясь под разными предложениями связывать свою судьбу с моею. С тех пор я ее не видел. Мальчик, родившийся в первый год нашего супружества, умер тогда же, а с ним вместе и залог примирения с женой и семьей, на что я так долго надеялся. Эмилия и я расстались навсегда. Если же до тебя дошли слухи, что после моего освобождения из Венсеннского замка я старался вновь соединиться с нею, то это случилось лишь потому, что в эту минуту я серьезно думал о правильном восстановлении всех моих личных отношений. Я хотел выйти наконец из исключительного положения молодых лет, хотел вновь явиться в свет с восстановленным социальным положением, чтобы начать работать всеми силами и достигнуть высшей и более достойной меня цели жизни. Сознаюсь при этом, что большие денежные средства, бывшие теперь уже в руках Эмилии, казались мне верным орудием для отвоевания у нашего из-

⁹ Леттр де кашэ (приказ об аресте без суда и следствия).

вращенного общества тех преимуществ, которые приобрета-
ются с таким трудом, когда появляешься с пустыми руками
карманами. С этими средствами я мог бы легче подняться
до той высоты положения, которое будет мне когда-нибудь
предоставлено Францией, и поднял бы с собой на эту высо-
ту Эмилию. Но она, заблуждаясь под влиянием дурных со-
ветов своего отца, согласилась вернуться ко мне, и мы ве-
ли сильную и страстную борьбу не только перед судом, но
и перед лицом всей Франции. Она напечатала против меня
свои мемуары, разорвавшие последнюю между нами связь.
Когда же состоялся наконец наш развод, сердце мое возли-
ковало по поводу этого нового вида своего освобождения!
Но вот пришла сладчайшая награда за все мои страдания, я
увидел тебя, Генриетта, и эта твоя небесная кротость, доб-
рота и прелесть, сделавшие меня тотчас же твоим пленни-
ком, хотят вступить со мной в долгий союз, а в нем я вижу
счастье, новую жизнь, и новую, с сегодняшнего дня начина-
ющуюся, великую эпоху моего существования!

Блестящими, благодарными глазами смотрела на него
Генриетта, нежно ласкаясь к нему. Ее милое, полное невин-
ности, застенчивое личико приняло теперь выражение весе-
лой отваги, вновь подкрепляющей те решения, которые она
постановила по отношению к Мирабо. Он взял ее за руку,
привел к дивану и сел рядом с ней.

– Не правда ли, Генриетта, мы ведь заключили вечный
союз между собою? – спросил он, положив ей руку на пле-

чо. — Мы будем верными товарищами в жизни, и ты не покинешь меня, а будешь держать судьбу мою под охраной твоих чудных глаз, сделавшихся божественным признаком моего нового существования?. И своей кроткой целебной рукой ты дотронешься до всего злого, что есть во мне и что создалось чудовищными отношениями к отцу, и приведешь меня к добродетели и совершенству? Да, я чувствую, что все зло, сделанное мне беспримерным отцовским деспотизмом, будет заглажено и вознаграждено драгоценным обладанием тобою!

— Как мог ты, такой, каким я тебя вижу, иметь отца, ненавидевшего и преследовавшего тебя? — спросила Генриетта с сердечной наивностью.

— О, — воскликнул Мирабо с выражением горького воспоминания, — ненависть эта была врожденной и омрачала уже первые светлые дни моего детства! Отец мой, маркиз Мирабо, возненавидел меня прежде всего за то, что я был безобразнее остальных моих братьев и сестер; далее, возненавидел он меня и был от самого моего детства до сей поры моим злейшим смертельным врагом за то, что в минуту гордого самосознания юности я воскликнул однажды, что мой отец, если бы он имел хотя бы, немного самолюбия, должен был бы дать мне свободу, потому что моя слава и мои успехи были бы тоже славой и успехами отца. Этого мой гордый жестокий отец не мог никогда мне простить и решил лучше погубить меня. Он, этот «Друг людей» («Ami des hommes»),

как он озаглавил одно из своих знаменитейших сочинений, которым хотел служить интересам человечества и народа, был волком в своей собственной семье, на которую кидался, которую рвал и преследовал, где и как мог. Благодаря дружбе, которую он умел поддерживать с министрами короля, ему удалось добыть одно за другим пятьдесят четыре повеления об аресте против членов своей семьи, из-за которых так пострадали не только я и мои братья и сестры, но и жена его, моя дорогая мать. Кроме всевозможных заточений, этот отец, друг людей, осаждал еще трибуналы Франции скандальными процессами, беспрестанно возбуждаемыми против нас. О, от него я хорошо узнал, что такое деспот, и это горькое познание, если я и заплатил за него лучшей частью моей молодости, послужит однажды к добру не мне одному, но и всей Франции. Да, маркиз Мирабо вжиг во все мои жилы понятие о том, что борьба против тирании есть единственная жизненная борьба нашего времени, на которую скоро должны будут подняться все, для кого личность и общество, для кого честь, свобода и счастье не простые химеры. Благодаря моим роковым распрям с деспотом-отцом, я увидел все зло этой французской монархии, эти развращенные суды и всюду продажные, попирающие право и справедливость начальство и власти, которым я был отдан в руки. Я должен был печально влачить и губить мою молодость по тюрьмам и крепостям; но в эти долгие годы заточения я научился культу свободы и, потеряв собственную молодость,

начал поклоняться вечной юности французского народа.

При этих словах Мирабо вскочил и стоял одну минуту среди комнаты, как бы увлеченный мыслями о будущем, задумчивый и неподвижный. А яркий луч утреннего солнца, взошедшего уже на горизонте во всем своем величии, проникнув в окно, осветил точно пылающим ореолом голову Мирабо. Генриетта, долго с восторгом смотревшая на него издали, теперь тихонько приблизилась к нему, желая вывести его из этого мечтательного онемения и вернуть к действительности. Но, подойдя и увидав перед собою всю мощь его фигуры, она, казалось, не посмела этого сделать.

В эту минуту он что-то тихо шептал сам с собою, сильно жестикулируя, и Генриетта, дрожа, вновь опустила руку, которой только что хотела тронуть его.

Наконец Мирабо заметил ее, смотревшую на него с благоговением и робкою улыбкою.

– Это ты, мое чудное, доброе дитя! – сказал он, поглаживая и лаская ее руку. – Прости, что на минуту мысли мои удалились от тебя. Но я думал теперь о том, что такое в сущности деспотизм? Деспотизм – это губительная ненависть, всюду находящая причину для своего проявления, притягивающая свой предмет, как змея невинную птичку, которая до тех пор в страхе порхает кругом нее, пока наконец, не в силах более сопротивляться, сама опускается и влезает в ядовитую пасть. Так мой отец хотел погубить меня, чтобы доказать превосходство своей воли и силы, но он забыл при

этом, что я состою из собственной материи и собственного духа, который должен образоваться в самом себе, чтобы сделаться способным и достойным к самосуществованию! Деспотизм – это повелитель, трон которого балансирует на головах рабов, потому что ему кажется опасным признать свободу народа и основать свои отношения с ним на любви и праве! Мне вспоминается одно происшествие из моего детства, углубившее пропасть между мною и отцом. Однажды отец неожиданно застал меня в моей комнате страстно декламирующим. С насмешкой, как всегда, говорит он мне:

– А-а, ты уже упражняешься, чтобы со временем играть роль французского Демосфена?

– Почему же нет, отец мой? – отвечаю я с веселою отвагою мальчика. – Быть может, однажды будут созваны государственные чины Франции, и тогда я буду говорить!

Отец побледнел и повернул мне спину. Несколько дней он не говорил со мной ни слова, но скоро после этого достал против меня *lettre de cachet* и, по поводу одной любовной интриги, возбудившей всеобщее внимание и в которой я принимал участие с легкомыслием семнадцатилетнего лейтенанта, заключил меня в крепость на острове Рэ. Да, да, он хотел даже выслать меня в голландские колонии в Индии, убийственный климат которых губит почти всех европейцев, отваживающихся бороться с ним. Только самые убедительные представления его друзей удержали маркиза Мирабо от приведения в исполнение этого покушения на жизнь

собственного сына. Но за то он решился терзать меня медленнее убивающею пыткой, пользуясь малейшим поводом, хотя бы кажущимся, чтобы едва освобожденного из тюрьмы вновь лишать свободы. Даже теперь, когда мне казалось, что мои мучения окончились, примирение его со мною оказывается обманчивым. Он не только не выплачивает мне сумму, которую, по условию, обязался ежегодно давать мне на мое обзаведение и жизнь в обществе, чем ставит меня в самое затруднительное положение, но еще формально заявил, что ни он сам, ни фамильное имущество не будут отвечать за мои долги. Так и теперь еще он мстит мальчику, осмелившемуся когда-то мечтать о свободе Франции и о будущем созыве государственных чинов.

В эту минуту послышался сильный стук в наружную дверь, испугавший Мирабо. Он вдруг прервал свою речь и остолбенел. Стук повторился, сопровождаемый нетерпеливым мужским голосом, настойчиво и грубо требовавшим открытия двери.

Генриетта, отнесясь к этому совершенно спокойно, шла уже открывать дверь, когда была остановлена значительными знаками, делаемыми ей Мирабо. С испугом, столь противоположным только что выказанному им геройскому характеру, он приложил палец к губам, давая ей этим понять о необходимости полного молчания и тишины.

Генриетта сильно встревожилась. Ей вдруг пришло в голову, что это ее разыскивают, и ужас, которого при ее уди-

вительной, полной доверия преданности к Мирабо не было и признака, выразился теперь на ее побледневшем лице.

С другой стороны комнаты открылась дверь; в нее поспешно вошел слуга, а за ним секретарь Мирабо, Гарди. Подойдя к графу, они шепотом сообщили ему о чем-то, выслушанном им с тревогой.

– Я думал, что это кто-нибудь из моих неотступных кредиторов, в последнее время часто сваливающихся на меня во время моего утреннего сна! – сказал Мирабо, подумав. – Но вы подслушали, что там внизу стоят двое полицейских. Это меня удивляет. Пусть один из вас сойдет вниз и постарается вступить как бы случайно в разговор с distinguished господами сержантами, чтобы узнать, чего они желают. Возможно, что их послал сюда мой отец; ведь во Франции *lettres de cachet* ежеминутно сыплются из облаков.

Секретарь, приняв поручение, вышел из комнаты. Когда Мирабо заметил сидящую на диване испуганную и дрожащую Генриетту, у него, казалось, промелькнула еще и другая мысль.

– Надо и о тебе позаботиться, мое сокровище! – сказал он, поспешно подходя к ней и уводя ее за руку.

Он подвел ее к стенному шкафу, быстро открыл его, обнаружив при этом потайную дверь, которая при нажатии им пружины открылась.

– Вот вход в маленькую комнатку; ее никто не найдет! – прошептал Мирабо. – Скройся на несколько минут, пока мы

не узнаем, что значат эти полицейские розыски. Будь весела и спокойна, Генриетта. Отдаваясь графу Мирабо, ты, конечно, вошла в царство приключений, но все твои добрые ангелы охраняют твою душу и тело.

Гарди вернулся с известием, что полицейские находятся в поисках молодой дамы, увезенной этой ночью из одного парижского монастыря и скрытой, как думают, у графа Мирабо.

Мирабо велел тотчас же открыть им двери. Обыскав тщательно повсюду и убедившись в напрасных подозрениях, сержанты, с вежливыми поклонами, удалились.

VI. Госпожа Нэра

Усиленные полицейские розыски вновь возобновились через несколько дней, и Мирабо заметил, что его квартира служит предметом постоянного надзора полиции.

Настоятельница монастыря, графиня Монтессио, громко повсюду расточавшая свои проклятия графу Мирабо, прибегала ко всем своим влиятельным связям в Париже, чтобы вновь обрести свою бежавшую питомицу, спасению души которой, по словам сестры Анжелики, угрожала страшная опасность.

Производимый ею шум был так велик, что обратил внимание общества на это приключение, и Мирабо стал бояться за участь свою и своей новой подруги. Решиться на что-нибудь ему казалось тем более необходимым, что вот уже несколько дней, как Генриетта жила у него, подобно пленнице, скрываясь в безопасной пока потайной комнатке.

— Мы должны выйти из этого тягостного положения! — сказал однажды утром Мирабо Генриетте, удивленно и радостно смотревшей на него.

— Знаю, — продолжал он, — что до сих пор ты еще не испытала здесь свободы, милое, доброе дитя, хотя глаза твои еще более ясны и блестящи, несмотря на то что ты вынуждена прятаться за моей тюремной стеной. Но погоди, моя маленькая пойманная птичка, твой час пробьет. Я увезу тебя еще

дальше, пока не увижу тебя вполне счастливой!

— Разве я уже не вполне счастлива? — спросила весело Генриетта. — Здесь, у Мирабо, разве это заточение? В монастырской келье было гораздо теснее; там я не могла плясать и прыгать целый день, как здесь. И воздух там в саду не был так прекрасен и свеж, как тот, которым я дышу вместе с тобою, друг мой, и птички в мрачной зелени деревьев, под моими окнами, не так весело щебетали, как твой маленький Коко, когда он примется смешить всех нас.

— Твой прелестный нрав делает тебя довольной, — возразил Мирабо, — но я недоволен за тебя! Я устал быть тюремщиком бабочки, которой нужно порхать в родном ей весеннем воздухе. Мы поедем на некоторое время в Лондон. Тем временем здесь все успокоится, и ты вернешься опять со мною сюда совсем другою и под чужим именем. Мы будем тебя выдавать за англичанку, для чего локоны твои довольно светлы, а лицо довольно бело и розово, мое сокровище! Лишь бы нам достать паспорт для особы этой национальности, тогда мы могли бы быть совершенно спокойны. Иначе твоя почтенная абэсса может выхлопотать *lettre de cachet* и засадить нас туда, где будет похуже, чем в твоём мирном монастыре.

— И нас бы разлучили? — спросила с ужасом Генриетта, прижимаясь к нему. — О Мирабо, тогда поедем в Лондон сегодня же, сейчас! А маленького Коко мы тоже возьмем с собою?

– Конечно, – ответил Мирабо, улыбаясь, – без него мы никуда не поедem. Я обьазался торжественною клятвой никогда не разлучаться с маленьким веселым человечком. Но, к сожалению, ехать сегодня мы не можем. Говоря откровенно, как подобает между друзьями, у меня нет никаких денег. К тому же я еще не представляю себе ясно способа, каким я выведу тебя из этого дома. Жду к себе сегодня утром моего друга Шамфора, только что известившего меня, что он опять в Париже. С ним-то, хорошо знакомым со всеми моими делами, я посоветуюсь о том и другом, и уверен, что мой умный и хитрый овернец сумеет опять вывести меня из затруднения.

– Посоветуйся лучше сейчас же со мною! – воскликнула Генриетта, ласкаясь к нему. – Разве я тоже тебе не друг? Быть может, и я придумаю что-нибудь чрезвычайно умное, несмотря на то, что я не из Оверни, как твой приятель Шамфор. Позволь же мне начать с денег. Возможно ли, чтобы у нас опять их не было, когда?..

– Когда, – перебил Мирабо с громким смехом, – несколько дней тому назад у нас была их целая куча, потому что ты не только ласточка, принесяшая весну сюда, к Мирабо, но и сказочная ласточка, нанесяшая ему золотые яички. Да, мое дитя, все твои драгоценности, великодушно нам предоставленные, уже исчезли. По твоему приказанию я наложил свою разбойническую руку на хранившиеся в твоей шкатулке кольца, браслеты и драгоценные камни и продал все. А

это были, вероятно, дорогие для тебя по воспоминаниям вещи! И ту довольно значительную сумму, без сомнения, сбереженные тобою карманные деньги, которую ты мне вручила, я тоже пустил по тому гибельному пути, по которому должны идти все деньги Мирабо. Не ужасно ли это?

В первую минуту Генриетта громко вздохнула, с изумлением смотря ему в глаза, но вслед за тем от души расхохоталась.

– В самом деле, – продолжал Мирабо с трагическим выражением, – деньги никак у меня не держатся. Это болезнь, которой я страдаю всю жизнь. Только я дотронусь до них, как они разлетаются на все четыре стороны. У меня нет и никогда не будет денег, хотя бы ты приворожила к ногам моим золотые горы.

В привычках графа Мирабо было вечно и всем жаловаться на свои денежные дела, но при этом вместе с огорчением проглядывало что-то столь забавно-равнодушное, что друзья его, желая возвратить ему вполне хорошее расположение духа, охотно приходили к нему на помощь.

В эту минуту Генриетта тоже чувствовала, что ей следует как-нибудь облегчить настоящее затруднительное положение, на которое он счел нужным жаловаться, что так мало согласовалось с его обычным достоинством и величием.

Она сняла с себя золотой, унизанный жемчугом медальон с портретом отца и, даже не взглянув на него, подала его Мирабо, значительно смотря и кивая ему головой.

Как ни готов был Мирабо принять от своих друзей всякую жертву, без рассуждений и не придавая никакого значения, однако он взял медальон лишь затем, чтобы с нежными упреками за ее легкомыслие опять надеть ей его и спрятать на ее груди.

— Счастлив тот, — сказал он, целуя ее, — кто может хранить на сердце память о своем отце. Знаменитый Ван-Гарен был высокой чести человек, и мы в нашем союзе будем достойно хранить его воспоминание!

— Ну, так я придумала что-то другое! — воскликнула Генриетта, весело хлопая в ладоши. — Я ведь должна еще получить наследство в Брюсселе, и как я глупа, что до сих пор об этом не подумала! Живший там родственник моего отца упомянул меня в своем завещании. Но это всего четыре тысячи франков, Мирабо! Только на днях я получила уведомление об этом, и ты не должен удивляться, что при всем со мною происшедшем это ускользнуло из моей памяти. Документ должен быть в шкатулке, которую я передала тебе с моими вещами.

— Быть может, при моей небрежности я выбросил его, — сказал Мирабо, поспешно направляясь к письменному столу, где была спрятана шкатулка. Бумага оказалась в ней. Мирабо с любопытством развернул ее, а Генриетта пристально смотрела на него, желая прочесть удовольствие на его лице.

— Хорошо, — сказал Мирабо равнодушно, — деньги, несомненно, твои и могут быть тотчас же получены. Об этом мы

позаботимся, когда приедем в Брюссель, по дороге в Лондон, хотя это несколько замедлит наше путешествие, которое следует совершить как можно быстрее, главным образом, из-за тебя, прелестная беглянка! Но мы это устроим. Теперь нужно только достать денег на дорогу от Парижа до Брюсселя, и это уже пустяки. Придет Шамфор, и мы увидим, как это сделать. Через него я спикирую на кошелек госпожи Гельвециус, которая охотно и щедро снабжает своих друзей из своей всегда полной кассы.

В эту минуту послышались два легких удара в дверь, и Мирабо, узнав по ним своего друга, громко закричал: «Войди, Шамфор! Здравствуй, Шамфор!»

Последний быстро вошел, и друзья сердечно обнялись.

– Итак, теперь мы опять будем вместе в Париже, мой друг и наставник? – спрашивал Мирабо, нежно его обнимая, чего он не делал ни с одним из остальных своих друзей. – Я так и думал, что при твоей дивной подвижности и непокое ты не останешься надолго среди отейльской философской идиллии.

Тут Шамфор заметил Генриетту, покрасневшую и желавшую удалиться, но Мирабо, удержав ее, представил своему приятелю.

– Вот она, Генриетта, – торжественно произнес Мирабо, – обладающая неземным мужеством разделять со мною жизнь и судьбу! Ты видишь, как она прекрасна, и найдешь, конечно, что все описания в моих письмах остались далеко поза-

ди истины. Одной своей красотой она могла бы завоевать место на королевском троне, если бы не предпочла разделять неверную участь беспокойного Мирабо. Но она, кроме того, сама доброта, нежность, кротость и принадлежит к тем возвышенным, правдивым душам, возле которых чувствуешь себя под верной охраной, как у себя на родине. Я не стою ее, но, клянусь тебе, сделаюсь достойным обладать ею!

Генриетта быстро подошла к нему и, держа руку перед его губами, робко упрашивала прекратить похвалы. Затем, дружески простясь с Шамфором, любезно ее приветствовавшим, поспешно удалилась в соседнюю комнату.

– Можно позавидовать твоему таланту создавать себе счастье! – сказал Шамфор, следя долго глазами за исчезающим образом Генриетты.

– Моя же жизнь – вся из противоречий и контрастов, – продолжал он с некоторою горечью. – Одно из таких противоречий привело меня опять в Париж. Маркиз де Водрейль пригласил меня жить у него, предоставив мне, единственно из всем известной любви к литературе и искусству и не ставя никаких условий, роскошное убежище в своем доме.

– Так что отныне мой друг Шамфор находится на Бурбонской улице, в великолепном отеле «Водрейль»? – сказал Мирабо, улыбаясь. – Там он может на просторе изучать высший свет, что, конечно, принесет пользу всей нашей эпохе.

– Да, все у меня одни противоречия, – повторил Шамфор, – но об этом в другой раз. Теперь вот в чем дело. Мар-

киз де Водрейль поручил мне передать тебе этот приглашенный билет. Завтра вечером, в его отеле, будет представлена «Свадьба Фигаро» Бомарше, и он придает большое значение твоему присутствию. Будет много приближенных ко двору лиц, так как задача в том, чтобы все-таки добиться благоволения короля и королевы для этой комедии, имевшей еще в рукописи столь странную судьбу. Друзья автора, в числе коих, как известно, и маркиз де Водрейль, хотят ловким образом получить завтра разрешение на публичное представление пьесы.

Взяв приглашенный билет, Мирабо долго молча и задумчиво рассматривал его, по-видимому, что-то соображая, потом сказал:

— Принимаю приглашение де Водрейль, хотя, как ты знаешь, я нимало не интересуюсь комедией спекулянта Бомарше. Все, что он делает, он делает для денег, и у меня не может быть симпатии и желанья причислить к нашим человека, делающего из движения вперед и свободы дело наживы. Так он представился передовым человеком американцам, а что же он сделал для американской свободы? Ничего, кроме поставки оружия новым республиканцам в их первых походах, причем нажил невероятные суммы, заставляя не только платить себе страшные цены, но и поставляя негодные ружья, плохие сапоги и шапки. А потом, когда американцы, обвиняя его в этом, стали сами заниматься военными поставками, он имел удовольствие с битком набитыми карманами

торжествовать в общественном мнении, как мученик свободы. О, я хорошо знаю этого патрона! И комедия его – такой же гешефт с общественным мнением. Каким путем этот Бомарше дошел до того, чтобы всю испорченность и ложь нашего общества сделать предметом веселой комедии? Если когда-нибудь, подобно американцам, мы станем сражаться за свободу, то Бомарше будет всегда лишь Фигаро нашей революции, то есть над всеми смеющимся и из всего извлекающим свою выгоду плутом!

– Ненависть твоя к Бомарше мне знакома, – возразил Шамфор, – но если не для самой комедии, то приходи, чтобы приятно провести вечер, в чем я тебе ручаюсь. Друзья Бомарше с Monsieur, братом короля во главе, хотят непременно добиться разрешения пьесы, запрещенной, к неудовольствию публики, королем, когда первое представление было уже объявлено на театре «Menus-Plaisirs». Готовится какая-то интрига, и я доволен, чуя в воздухе что-то неладное. Что ты об этом думаешь, Мирабо?

– Нос – важное орудие хорошего политика, – ответил Мирабо, – и ты знаешь, что я всегда отдавал справедливость твоему. Но если завтра я буду в отеле «Водрейль», то, лишь потому, что хочу провести там свою собственную интригу, для которой мне нужна твоя помощь, Шамфор. Ты сейчас видел мою прелестную газель, скрывшуюся не только от твоих восхищенных глаз, но и от полиции, ежеминутно могущей обрушиться на нее, о чем я уже подробно писал тебе.

Теперь же я решил увезти ее в Лондон на некоторое время и, натурализовав ее англичанкой, привезти обратно и жить с нею здесь. Но не вижу способа, как мне ее вывести отсюда из дому. Внизу целый день прогуливаются агенты полиции, они немедленно вырвут у меня мою крошку. В эту минуту, благодаря твоему приглашению к Водрейлю, у меня родился план. Без сомнения, маркиз предоставляет в твое распоряжение и экипаж, как это подобает покровителю всех муз, считающему за честь иметь их у себя в доме.

– Конечно, – возразил Шамфор, – он позволяет поэту разъезжать в великолепной карете маркиза, думая, что от этого маркиз делается немного поэтом.

– Вот и хорошо, – сказал Мирабо, – пусть же карета маркиза сослужит службу и моей юной любви. Слушай, каков мой план. Завтра вечером, окончив здесь все приготовления для отъезда, я прибуду в отель маркиза де Водрейль заблаговременно. Ты же, попозже, пожертвовав мне одним действием комедии, приедешь сюда, ко мне, в карете маркиза. Генриетта будет тебя ждать, переодетая, для отвода глаз полицейских, в костюме крестьянской девушки, няни при маленьком Коко, и с ребенком на руках, быстро сядет с тобою в экипаж. Полиция заметит все это, но не заподозрит ничего или не посмеет простираť свои розыски на экипаж с гербом и ливреей маркиза де Водрейль. Ты приезжаешь с моей подругой и ребенком в отель «Водрейль», они остаются в экипаже, которому ты приказываешь на время постоять в сарае.

При первой возможности я оставляю зал, а ты своим авторитетом в отеле должен устроить так, чтоб я мог воспользоваться этим же экипажем до Монмартра, где меня будут ждать мои люди и дорожная карета, и тогда уже, надеюсь, мы достигнем без приключений дороги в Брюссель, куда я должен направиться прежде всего.

Подумав с минуту, Шамфор кивнул головой своему другу и сказал:

– Ты можешь, как всегда, положиться на меня, Мирабо! Устрой все, а я выполню твои указания самым точным образом. О, я искренне радуюсь своему участию в интриге, да еще сыгранной с этой враждебной народу и бесстыдной парижской полицией. Но ради большей безопасности я бы советовал запастись для Генриетты паспортом на чужое имя. Для этого тоже распоряжайся мною, если моя помощь может пригодиться.

– Я и хотел отдать это дело в твои дружеские руки, – ответил Мирабо. – Было бы отлично, если бы я уже здесь, в Париже, мог получить паспорт для Генриетты как для природной англичанки. При твоих связях в Париже и общении со знатными и сильными ты легко мог бы нам устроить это. Мне кажется, ты свой человек и в отеле английского посланника, герцога Дорсэ? Вообще, твое влияние громадно, дорогой Шамфор, и мы счастливы, найдя в тебе защитника нашей любви!

– Шамфор – покровитель влюбленных! – воскликнул

Шамфор с грустной улыбкой. — Однако я могу взять на себя это поручение. В доме маркиза де Водрейль есть несколько бонн-англичанок, и никого не удивит, если для возвращения одной из них в Лондон я поручу управляющему отелем ихосходатайствовать паспорт. О том же, чтобы он был выдан без затруднения, на любое имя, я позабочусь сам в канцелярии посольства. Реши только, как с этой минуты должна называться твоя прекрасная Генриетта.

— Об этом нам следует спросить ее самое, — возразил Мирабо, подходя к комнате, в которой Генриетта скрывалась.

На его громкий стук и зов у двери она сейчас же вышла с выражением ужаса на своем прелестном лице. Но Мирабо успокоил ее. Речь лишь в том, чтобы ей, которая есть сама правда, дать вымышленное имя, для ограждения ее на будущее время от всяких преследований.

Генриетта смотрела на него сначала с улыбкой и недоверием; но затем лицо ее на минуту омрачилось, и она медленно, но серьезно покачала головой.

— Я тебя понимаю, — воскликнул Мирабо, — ты не хочешь и не можешь лгать, потому что ты великая, честная душа! Но ты не должна относиться к этому слишком строго, ибо, что такое имя человека, как не домино, в котором он допускается в зал собрания. Случается, что для забавы домино переворачивают и надевают наизнанку. Старых же друзей, всегда во всех видах узнающих нас, эта новая тайна только сильнее располагает к нам.

– Ну, если ты хочешь перевернуть мое имя, то оно будет Нэра! – воскликнула Генриетта, снова оживляясь и глядя на него счастливыми дружескими глазами. – Когда, бывало в детстве, играя, мы изменяли наши имена, я часто называлась Генриеттой Нэра.

– Bravo! – вскричал Мирабо, целуя ее руки. – С этой минуты твое имя – госпожа Нэра. Генриетта Гарен исчезла. Пусть же эта анаграмма ваших детских игр будет счастливым предзнаменованием нашего союза и нашей будущности! Друг Шамфор добудет английский паспорт на это имя.

– Примите же, госпожа Нэра, мои наилучшие пожелания по поводу этого крещения, – сказал Шамфор, торжественно подходя к ней и подавая руку, которую она дружески пожала, сказав:

– Генриетта Нэра останется, верьте мне, тем же, чем была Генриетта Гарен: простушкой, подчиненной лишь своему сердцу теперь и всегда!

– Итак мы обо всем отлично переговорили с нашим дорогим Шамфором, – начал вновь Мирабо. – Остается прибегнуть к его помощи по очень щекотливому вопросу; Шамфор уже знает, в чем дело, судя по его злорадной, дьявольской улыбке, блуждающей на его лице всякий раз, когда ему удастся подсмотреть какую-нибудь слабость бедного человеческого сердца.

– Да, я знаю, чего ты хочешь или, вернее, чего у тебя нет, – засмеялся Шамфор. – Признания твоего сердца я выслуши-

вал не раз и бывал при этом всегда счастлив, чем при совещаниях о твоём кошельке, на сердечную слабость которого ты, вероятно, намекаешь в эту минуту.

– Правильно, – сказал Мирабо, – ты угадал! Я опять в том положении, когда все существование человека выражается признанием «у меня нет денег!»

При этих объяснениях Генриетта заволновалась. Щеки ее зарделись, как бы от величайшего стыда, а глаза опустились в землю.

– Это милое дитя не может вынести разговора о денежных затруднениях, – сказал Мирабо, забавляясь ее смущением. – Краснеет, как если бы это был позор для нас всех и для целого света, что у меня нет денег.

– Напротив того, госпожа Нэра, это для него большая честь, что у него денег нет, – сказал Шамфор, подходя к ней ближе. – Граф Мирабо, с вечно расстроенными финансами, и в этом отношении нормальный человек своего времени. Мы уже по одному тому надеемся, что Мирабо появится когда-нибудь спасителем Франции, что у него, как и у Франции, нет денег и что с пустыми карманами он может успешнее обдумывать устройство прекрасного будущего Франции.

– Ты слишком много философствуешь на счет моего пустого кошелька, – сказал Мирабо немного озабоченно. – Если не можешь сегодня помочь мне или посоветовать что-нибудь, скажи прямо. Нам нужны деньги на дорогу только до Брюсселя, потому что там нас выручит ожидающее наслед-

ство. Но и до Брюсселя мне нужно немало. Ты знаешь, что без прислуги и секретаря я обойтись не могу и должен их взять с собой. Ну, так что же, Шамфор, есть у тебя деньги?

— Наша добрая мать, госпожа Гельвециус, щедро наделила меня ими при прощании, полагая, что в высшем свете мне необходимо иметь приличные карманные деньги, — возразил Шамфор. — Из них у меня еще есть, кажется, франков восемьсот, и ты отлично сделаешь, Мирабо, взяв их, потому что мне они только мешают приятно мечтать, заставляя думать о том, что бы мне на них купить. Живя в отеле «Водрейль», в деньгах я не нуждаюсь; там я на полном иждивении маркиза; для некоторых же мелких расходов мне довольно получаемой мною, благодаря прекрасной королеве Марии-Антуанетте, пенсии. К тому же на днях я выпускаю в свет собрание своих драматических произведений и надеюсь получить за них хороший гонорар. Ну, а теперь прощайте, дети мои! Завтра утром принесу вам английский паспорт и деньги. Все прочее, о чем мы говорили, остается без изменений.

Мирабо обнял друга с выражением живейшей благодарности. Шамфор собрался уходить, но опять вернулся и, вынимая из кармана сложенные листки, подал их Мирабо, говоря:

— Чуть не забыл передать тебе эти бумаги. Это обещанные прибавления к твоему труду о цинциннатском ордене, частью мои, частью доктора Бенджамина Франклина, кото-

рый просил, кстати, кланяться тебе. Ты можешь воспользоваться этими заметками или нет – как тебе угодно. Кондорсэ и Кабанис извиняются пока. Они работают над математикой и физикой, не будучи еще в состоянии делать политику. Кабанис с кровавым потом трудится над открытием связи между физическими и нравственными законами.

После ухода Шамфора Мирабо, обращаясь к своей подруге, стоявшей возле него с радостной улыбкой, сказал:

– Ну, Генриетта, нам надо уже сегодня много приготовить для отъезда. А потому поторопись, дитя мое! Мы должны взять с собою в Лондон все наше движимое имущество. Всего же важнее хорошенько закутать и собрать нашего Коко, с которым мы никогда не расстанемся. Маленький мужчина предпринимает свое первое морское путешествие, и надо знать, все ли у него есть для этого. Ты ведь приняла на себя роль его Провидения, так позаботься же обо всем.

Генриетта кивнула головой в знак согласия и хотела уже выйти, чтобы поспешно приняться за исполнение его поручений, как вдруг, будто что-то вспомнив, остановилась в нерешительности посреди комнаты, потом, быстро подойдя к Мирабо и ласкаясь к нему, сказала тихо:

– Ты, конечно, мог бы скорее жить без меня, чем без твоего маленького Николая. Не правда ли, он всех ближе твоему сердцу? И я буду беречь его поэтому, как зеницу ока. Однако тайна его рождения часто мучит меня. Ты обещал разрешить мне эту загадку, но не сдержал слова, Мирабо.

– Ну, так я теперь скажу это тебе, – сказал Мирабо как-то торжественно строго. – Герцогиня де Ламбаль – мать ребенка. Тайно родив его, она отдала его под мою защиту и на мое попечение, и я поклялся ей, что никогда и нигде не расстаюсь с ним. Эту клятву, которую намерен свято исполнить, я произнес, будучи обязан герцогине и желая оказать услугу ей, поддержавшей меня в самую тяжкую минуту моей жизни.

– И только по этой причине ты принял Коко? – спрашивала Генриетта, недоверчиво глядя на него. – Других отношений к тебе ребенок не имеет?

– Тише, тише! – воскликнул Мирабо, закрывая ей рот рукой. – Я никогда тебе не назову отца ребенка, но со временем расскажу тебе об этом целую историю.

Генриетту, по-видимому, это не удовлетворило, но она не посмела яснее предложить мучившего ее вопроса и, задумчивая, медленно вышла из комнаты.

Мирабо, улыбаясь, смотрел с немим восторгом вслед за нежным, юным созданием, удалявшимся с тревожными мыслями, прямо к нему относящимися, и так сильно желавшим узнать, кто имел права на его сердце.

VII. «Свадьба Фигаро»

На предстоящее в театральном зале отеля «Водрейль» представление «Свадьбы Фигаро» Бомарше к восьми часам вечера к великолепному отелю маркиза стали съезжаться блестящие экипажи со всех концов Парижа.

Сначала гости собирались в небольших салонах, своеобразно устроенных. Один из них был музыкальной комнатой со всевозможными инструментами. В другом находилось все необходимое для живописи и рисования, и если бы кто из общества пожелал показать свой талант, то к услугам своим нашел бы краски, кисти и все прочее. В третий салон был завален драгоценными гравюрами и рисунками; далее следовал великолепно устроенный, роскошный кабинет для чтения. Любитель искусств и гордый именем покровителя всех муз, маркиз устраивал у себя вечера, на которых при самой оживленной беседе шла в этих салонах усердная работа и случалось, что именно здесь набрасывалось или обсуждалось произведение, становившееся впоследствии известным.

Сам маркиз, одна из наиболее блестящих личностей тогдашнего общества, обладал великолепным голосом, и пение его было предметом всеобщего восхищения. Благодаря этому таланту, дававшему ему доступ в придворные сферы, а также изяществу своих манер и изысканной любезности, маркиз де Водрейль, не будучи одним из выдающихся умов

того времени, сделался, однако, видным и влиятельным лицом не только между литераторами и художниками, но и при Версальском дворе, в кружке, сгруппировавшемся преимущественно около королевы.

Сегодня все члены этого интимного кружка Марии-Антуанетты собрались в отеле Водрейль на представление так сильно на шумевшей комедии. Во главе их находились престная графиня Жюли де Полиньяк и ее невестка, гордившаяся и даже кокетничавшая своим умом, графиня Диана де Полиньяк. Влиянию именно этих двух дам, сильно заинтересовавшихся комедией Бомарше, должно приписать то, что королева, а через нее и король изъявили согласие на пробное представление в отеле «Водрейль» перед избранной публикой пьесы, будто бы переделанной автором.

Смелая и веселая графиня Диана, недавно назначенная статс-дамой к графине Артуа, та самая, которая таким необыкновенным образом выказала свои симпатии Бенджамину Франклину и американской свободе, встала на защиту свободы комедии Бомарше; противостоять ее милым козням было нелегко.

Перед началом спектакля обе графини Полиньяк, окруженные избранным кружком своих друзей и поклонников, вели негромкую, но оживленную беседу в музыкальной зале, обсуждая возможность публичного представления «Свадьбы Фигаро».

– Отвечаю за всякие дурные последствия, могущие про-

изойти от сегодняшнего спектакля для вас, любезный маркиз, – сказала прекрасная графиня Жюли де Полиньяк с гордым сознанием своего нового важного положения, занятого ею с прошлой зимы при особе королевы.

– Я не тревожусь о последствиях, – возразил маркиз Водрейль, с изысканною вежливостью и почтением обращаясь к графине. – Но меня начинает немного мучить совесть; я нахожу, что господин Бомарше мог выбросить хотя бы некоторые неприличные места, замеченные королем с таким неудовольствием.

– Господин Бомарше упрям и не пожелал этого сделать, – ответила графиня Полиньяк, улыбаясь и показывая ряд ослепительно-белых зубов. – Но раз пьеса будет представлена здесь и такие выдающиеся при дворе лица, как вы, маркиз, или наш милый швейцарский полковник, господин де Безенваль, засвидетельствуют ее безопасность, король будет рад отменить свой прежний строгий приговор, разрешив представление пьесы и уничтожив, таким образом, неудовольствие публики. Все мы сделали доброе дело, а вы, господин маркиз, можете опять гордиться, что одно из образцовых национальных произведений возродилось к жизни в отеле «Водрейль».

Благодарный маркиз поцеловал графине руку со всею утонченною изысканностью манер французского двора.

– Имея графиню Жюли во главе, мы можем смело вступить в бой, – сказал галантно барон Бенезваль, начальник

швейцарской гвардии, пожилой человек с белоснежными волосами, простой и искренний. Благодаря этим качествам он стал доверенным лицом у дам, которым, однако, несмотря на свои годы, он не переставал поклоняться. В настоящее время предметом его восхищения была графиня Жюли де Полиньяк.

– В самом деле, мы здесь собрались, точно заговорщики, – начала графиня с неотразимою веселостью. – Но присутствие между нами славного, доброго начальника швейцарской гвардии должно, мне кажется, оправдать наши намерения.

Графиня Жюли де Полиньяк, не будучи перворазрядной красавицей, была очаровательна своею непринужденностью, изяществом и необыкновенною простотой своего туалета. Этой же простотою и веселостью покорила она и сердце королевы, не проводившей без нее ни одного дня.

В эту минуту вошли Мирабо и Шамфор и, остановившись у дверей, разглядывали собравшееся общество.

– Мы очень рано приехали, – заметил Мирабо, бросая беспокойные взгляды повсюду. – Пока на месте одна лишь разряженная дворня, замышляющая сегодня что-то необычайное. А я между тем в страшном нетерпении. Если б уж эта проклятая комедия началась, мы могли бы завязать нашу собственную интригу и убедиться в счастливом бегстве Генриетты!

– Для этого нужно нам прежде просмотреть одно или два

действия «Фигаро» Бомарше, — возразил Шамфор, посмеиваясь, и с этими словами оба друга перешли в соседний салон, чтобы и тут поглядеть на собравшихся.

— Право же, там Дидро! — внезапно воскликнул Шамфор, показывая на группу гостей, среди которой выдавалась высокая, внушительная фигура мужчины с привлекательными чертами лица. — Мне не верилось сегодня словам маркиза, что Дидро будет у него вечером; мы ведь знаем, как он болен. Но маркиз, как видно, сумел его поставить на ноги. У этого человека настоящий талант собирать у себя людей. А вот и милейший старик, барон Гольбах, на верную дружескую руку которого Дидро опирается в эту минуту.

Они подошли ближе, и Дидро, едва увидав обоих друзей, поспешно повернулся в их сторону и, выходя из круга обступивших его, любезно приветствовал их, с особенною симпатию пожимая руку Шамфора.

— Вы видите меня вновь восставшим из мертвых единственно для того, чтобы познакомиться со «Свадьбою Фигаро» Бомарше, — сказал Дидро своим приятным голосом, едва пострадавшим от болезни и лет.

Дидро шел семьдесят первый год, и он мог бы еще назваться красивым, если бы не всевозможные физические страдания, оставлявшие мало надежды на продление его жизни и в последнее время наложившие свою печать на его могучую фигуру. Однако в необыкновенно красивых больших глазах горел еще неугасаемый огонь гения, а тонкие гу-

бы оживлялись прелестью беспримерного даже в обыкновенном разговоре красноречия.

– Вижу там уединенный уголок, где мы можем посидеть, – сказал Дидро, направляясь под руку с Гольбахом к дивану, стоявшему в углу залы. Мирабо и Шамфор, по дружескому знаку его добрых глаз, последовали за ним.

– Печально и больно, – тихо сказал Мирабо Шамфору, – видеть разрушающегося героя, вся духовная мощь которого не может, однако, защитить его от этой дани ничтожеству! Смотри, как он едва тащится и покачивается, и это Дидро, та великая голова, которая учила французов, что все в мире – материя и что полагаться должно на одну лишь природу. А рядом с ним не менее знаменитый барон Гольбах, который еще кое-как держится. И вот два старика, написавшие вместе «Систему природы» (*Systeme de la nature*), два исполина ума, дряхло покачиваются перед нами. А мы, молодые, что мы можем предъявить, чтобы достойно называться их наследниками?

– Ну, вслед за этими двумя титанами мы уж проскользнем как-нибудь, – весело заметил Шамфор. – Добрый, милейший Дидро, его время прошло, конечно, но ему все-таки есть что вспомнить. Веди он себя поосторожнее при дворе императрицы Екатерины, он, вероятно, создал бы себе блестящее положение в Петербурге.

Дидро и Гольбах опустились на диван, а Мирабо и Шамфор в кресла рядом с ними.

– О ты, которого я здесь вижу и лишь в эту минуту вполне узнаю, ты – граф Мирабо, тот, который, подобно мне, сидел в Венсеннском замке, размышляя о будущности Франции! – воскликнул Дидро патетическим голосом.

Мирабо поклонился и с благоговением пожал протянутую ему руку.

– Да, это была роковая для меня минута, когда за мои сочинения, частью уже оконченные, частью лишь начатые, я был препровожден в Венсенн, – продолжал словоохотливый Дидро, но был прерван подошедшим к ним в эту минуту несколько беспокойною и торопливою походкой человеком среднего роста, который почтительно поклонился и представился группе друзей.

Это был автор комедии, барон Бомарше, человек лет пятидесяти, светлые, блестящие глаза которого выражали проникательность и ум; главною же и характерною чертою всей физиономии было плутовское лукавство, сразу не внушавшее к нему доверия.

– Вот счастье, что к нам подошел Бомарше, – сказал Шамфор, обращаясь к Мирабо, – иначе Дидро не перестал бы говорить. Мне еще никогда не удавалось прервать «золотой язык Дидро», как его так красиво прозвали, каким-либо ловко вставленным замечанием.

В это время со всех сторон гости стали стекаться в великолепную, огромную театральную залу. Многочисленное общество заняло свои места, нетерпеливо ожидая поднятия за-

навеса.

Пьеса разыгрывалась артистами из Theatre francais с первоначальным распределением ролей для представления, запряженного королем.

Комедия началась живым, частью забавным, частью сварливым разговором между Сюзанною и Фигаро, которые ввиду предстоящей свадьбы тревожатся желанием графа Альмавивы воспользоваться своим известным феодальным правом. Едва публика успела понять, что здесь под замком графа Альмавивы речь идет о Франции и испорченности нравов всего общества, как живые и веселые сцены стали сменять одна другую. Появление влюбленного в графиню пажа Херувима, потом графа Альмавивы, требующего от Сюзанны принадлежащего ему феодального права; внезапное появление Дона Базилио, от которого Сюзанна скрывает графа за креслом, где уже спрятан паж; ловкие хитрости находчивого Фигаро – все это вызывает громкие взрывы смеха и одобрения. Так проходят два первые действия при все более и более возрастающем интересе и при всевозможных самых разнообразных суждениях публики.

– Ну, как ты себя чувствуешь, мой друг? – обратился Шамфор к замечтавшемуся Мирабо. – Разве эта комедия не включает чего-то необыкновенного, удивительно привлекательного и заставляющего задуматься?

– Ты поэт, – возразил Мирабо, – и, конечно, более, чем я, склонен откапывать символическое значение в этой пошлой

комедии. Я же в эту минуту думаю только о Генриетте, милой девушке, дрожащей там дома, и сердце мое сильно бьется над развязкою этого узла. Не забудь только выйти вовремя. Мы ведь условились так, что по окончании третьего действия, во время более продолжительного антракта, ты удалишься. При появлении же твоём вновь в зале я заключу, что ты возвратился счастливо и что экипаж с Генриеттою и ребенком находится в безопасном месте, во дворе отеля. Тогда я выхожу, готовый пуститься в путь, и прощаюсь с тобою на некоторое время, мой Шамфор!

Шамфор кивнул ему головой, делая знак своими прекрасными, преданными глазами, что все понято им хорошо, и в эту минуту занавес вновь взвился, и началось третье действие.

Колкие остроты в этом действии комедии неоднократно вызывали взрыв восторженного одобрения зрителей. В особенности же места, направленные против аристократии, сопровождались поистине бурными рукоплесканиями со стороны самых знатных лиц собравшегося общества. Рукоплескания эти выражали или согласие с автором, что было ясным доказательством начинающего уже распространяться в придворных кругах настроения; или же это был способ противостоять жестокой правде, принимая ее лишь как блестящее остроумие и потешаясь им. Так, все присутствующие государственные люди и дипломаты аплодировали в особенности тому месту, где Фигаро, со своим здоровым природным

остроумием, разъясняет, что такое, в сущности, политика, соединяя с этим понятием самые предосудительные поступки. На это граф Альмавива слабо возражает:

– Это не политика, это – интрига!

Но такое наивное заявление представителя испорченности нравов вызвало взрыв хохота и несмолкаемые рукоплескания. Под влиянием все возрастающего интереса к пьесе общество, не отдавая себе само в этом отчета, вступало на путь политики. Особенно сильно выразилось это в сцене суда, где граф Альмавива, как судья среди своих вассалов, должен произнести решение по делу Фигаро с Марселиной, требующей, чтобы Фигаро женился на ней.

Вся слабость и негодность старого судопроизводства осмеяна здесь самым беспощадным образом. И вдруг сцена принимает до невероятности легкомысленный оборот: по пятну на руке Фигаро признан сыном той самой Марселины, которая хотела его заставить жениться на себе. Тут Марселина, как бы в роли хора древней комедии, мгновенно превращается в адвоката угнетенных женщин, и все положение, не теряя фривольного характера, возвышается до истинной философии.

В эту минуту, когда опускался занавес, Шамфору удалось незаметно удалиться. Мирабо стал беспокоиться. Нетерпение, с которым он ждал возвращения своего друга, постоянно усиливалось, и самые мрачные мысли лезли ему в голову. Разговор, в который маркиз де Водрейль старался вовлечь

его теперь с графинями Полиньяк, наталкивался лишь на односложные ответы Мирабо, так что начавшаяся уже распространяться при дворе слава его как таланта и выдающейся личности оказалась в опасности.

Так начался четвертый акт, но Мирабо с трудом мог следить за ходом пьесы. Голова его невольно оборачивалась к двери, в которую он ежеминутно ожидал увидеть Шамфора. Но возвращение последнего замедлилось, и Мирабо мучился, допуская возможность, что Генриетта, несмотря на все предосторожности, узнана и задержана полицией. При этой мысли, вместе с невыносимым страданием и гневом, он чувствовал, как ему дорога его новая подруга, и страстное желание видеть ее овладело им с неудержимою силою.

Шамфор все еще не появлялся. С окончанием четвертого акта беспокойство Мирабо дошло до крайней степени. Он был не в силах оставаться на месте, встал и вышел в переднюю, через которую Шамфор должен был вернуться.

Начался пятый акт. Мирабо стоял в дверях зала, в нерешительности, оставаться ему или поспешить к себе домой, чтобы узнать о случившемся. В эту минуту комедия открылась сценой ночного rendez-vous¹⁰, в которой все скопившиеся несчастья разрешаются самой забавной и одновременно колкой насмешкой, наказывающей виновного виновным же, и где в конце концов каждый получает лишь то, что ему принадлежит на самом деле, по праву и закону. Фигаро, закутан-

¹⁰ Свидание (*фр.*).

ный в плащ, в темноте произносит свой удивительный монолог о судьбе, жизни, обществе, ясно намекая на происхождение и исключительное положение графа. С дьявольской хитростью произносит он слова: «Дворянство, состояние, звание, почетная должность – все это так сильно возбуждает гордость. А что же вы сделали для всего этого благополучия? Вы приняли на себя единственный труд – родиться, и больше ничего! Вообще же вы – совсем заурядный человек».

Тут Мирабо почувствовал, что его кто-то тихонько трогает за плечо, и, обернувшись назад, увидел Шамфора, легким кивком головы показывавшего ему, что все исполнено.

Продолжительное ликование, возбужденное среди зрителей монологом Фигаро, дало друзьям возможность незаметно удалиться.

Мирабо поспешно последовал за своим другом в аван-залу, и, лишь дойдя до лестницы, они обменялись несколькими, шепотом сказанными, словами.

– Все чуть не пропало, – сказал Шамфор. – Полиция, как цербер, сторожащая твой дом, заподозрила прелестную провансальскую крестьянку, с которой я как раз собирался скользнуть в карету. Потребовали сведений о ней и о том, куда мы едем. Повинуясь твоим наставлениям, я показал на имя и герб маркиза де Водрейль, рассказал им длинную, обстоятельную историю на счет того, почему твой ребенок с няней должен быть отвезен к маркизе, причем живо всунул твою Генриетту в экипаж, а их с дальнейшими расспросами

просил обратиться лично в отель «Водрейль». Эти противные сыщики, однако, напугали меня, потому что, как тебе известно, я совсем теряюсь, приходя с ними хотя бы в малейшее соприкосновение. Однако теперь мы благополучно прибыли, и Генриетта со страстным нетерпением ждет тебя.

Шамфор довел друга до скрытой в сарае кареты. Мирабо быстро вскочил в нее, закрыв рукою рот Генриетте, готовой было вскрикнуть от радости. Маленький Коко лежал у нее на коленях и крепко спал.

Шамфор с минуту постоял на подножке, напутствуя их сердечными пожеланиями. Потом с озабоченным видом обратил их внимание на английский паспорт, вручая Мирабо портфель, в котором он был вложен; Генриетте же советовал немедленно переодеться, для чего все нужное она найдет приготовленным в экипаже, так как, по паспорту, она бонна-англичанка. Генриетта сердечно, с благодарностью жала ему руку.

– Ну, прощай, мой друг Шамфор! – сказал Мирабо, обнимая его. – Поклонись там в зале всем Альмавивам, которых я должен покинуть на некоторое время. Боюсь, что путем легкой комедии Альмавивы не исправятся, и нам придется скоро начать для этого во Франции более серьезную игру. Напишу тебе, как насчет этого обстоят дела в Англии. Конечно, находясь там, буду изучать английскую свободу. Прощай, я люблю и уважаю тебя, Шамфор. Люби и ты меня немного!

Экипаж покатиł вперед и скоро достиг цели.

У подошвы Монмартра, в условленном месте, стояла дорожная карета, в которую следовало пересесть из экипажа маркиза де Водрейль, и у дверей которой секретарь Гарди и камердинер ожидали Мирабо. Тут же находилась и мисс Сара, составлявшая нераздельную часть семьи и лаем и визгом выражавшая счастье встречи своего господина.

Караван приготавливался немедленно пуститься в путь. Мирабо посадил в экипаж Генриетту, всеми силами старавшуюся успокоить маленького Коко, разбуженного лаем собаки. Рядом с кучером сел секретарь, камердинер поместился позади кареты, и таким образом наполненный дорожный экипаж повернул на залитую лунным светом большую брюссельскую дорогу.

VIII. Прогулка по Лондону

Уже несколько дней Мирабо и Генриетта находились в Лондоне. Верный своим привычкам, Мирабо занял большую дорогую квартиру в одной из лучших улиц Вест-Энда, на что потребовалась значительная часть наследства Генриетты, полученного в Брюсселе.

Был прекрасный летний день. Мирабо, отложив некоторые дела в городе, рано вернулся домой, желая уговорить милую подругу, не покидавшую еще со времени прибытия в Лондон своей квартиры, прогуляться с ним по городу. Он надеялся, что великолепная погода и бальзамический воздух на улицах и площадях Лондона будут самым действительным лекарством для сильно пострадавшего во время путешествия здоровья Генриетты.

Она с радостью согласилась, и на бледных щеках ее заиграл на минуту прелестный румянец. Быстро поднимаясь с места, на котором сидела с какой-то работой в руках, она хотела поспешно одеться для прогулки, но вдруг, грустно улыбаясь, заметила, что должна осторожнее обращаться со своими слабыми силами.

Здоровье ее пострадало от утомлений и опасностей, которыми сопровождалось их морское путешествие. Два раза при переезде из Франции в Англию им угрожала гибель. В первый раз, в открытом море поднялась такая буря, что их

дряхлый пакетбот делался почти целиком добычею ветра и волн. Второй раз, уже в гавани, чуть не произошло кораблекрушение. Почти на виду Лондона, по недосмотру руль получил такой сильный толчок о скрытый в воде якорный канат, что судно при сильнейшей килевой качке стало уже наполняться водой. К этим опасностям присоединилось еще у Генриетты непрерывное страдание морской болезнью, так сильно ее изнурившее, что по прибытии в Лондон Мирабо был вынужден тотчас же послать за врачом.

– Бедное дитя, – сказал Мирабо, глядя на ее изнуренный вид, – видно, что ты путешествовала с Мирабо. Было ли хоть раз, чтобы в моем путешествии не сопутствовали мне несчастья и опасности? Еду я по большой дороге – колеса ломаются; на море достаточно моего присутствия, чтобы все ураганы обрушились на мой корабль. У меня сейчас же, при малейшем случае, дело идет о жизни и смерти. И в судьбу такого-то человека вошла ты, моя милая, невинная Генриетта! Боюсь, как бы ужасы этого путешествия не нанесли серьезного вреда твоему прелестному нежному телу.

– Я теперь решилась быть совсем здоровой, – сказала Генриетта, – а то мое теперешнее состояние, раздражающее меня, невыносимо и для всех нас. К тому же на то, чтобы хворать, доктора здесь слишком дороги. За каждый визит – гинею, это нестерпимо и угрожает скорою гибелью нашей кассе.

– А, тут я узнал мою милую скрягу! – воскликнул Мирабо,

смеясь.

– Противным деньгам я не придаю никакого значения, – возразила Генриетта, глядя на него серьезно своими доверчивыми, ясными глазами. – Но меня огорчает, когда ты должен беспокоиться. Вот почему мне хотелось бы, чтобы наш денежный запас мог существовать вечно. Однако на это не похоже. Мирабо, мы слишком много тратим, и я страшно боюсь, что ты вдруг опять с тревогою спросишь меня: «Генриетта, а где же деньги?»»

– На этот раз ты можешь быть спокойна, потому что скоро я получу много денег, добрая моя графиня Иетт-Ли! – сказал Мирабо, называя ее, как он это часто делал, последними Словами ее двух имен, Генриетт-Амели, и присоединяя вместе с тем титул графини, с которым и прислуга должна была обращаться к ней.

– Нельзя же не жить прилично, – прибавил Мирабо в то время, как госпожа Нэра поспешно оканчивала свой туалет. – Правда, деньги у нас опять начинают исчезать. Великая, вечно необъяснимая тайна отлива моря владеет еще более необъяснимым образом нашей кассой. Но постой, Иетт-Ли, на этот раз я позаботился и о приливе. Я задумал крупные литературные работы, которые принесут мне большие выгоды. Все утро сегодня бегал по Лондону, призывая целый сонм издателей под знамя моего гения. И это окажет свое действие, можешь вполне положиться на это. Мое сочинение о цинциннатском ордене я уже пристроил. Через несколь-

ко месяцев оно выйдет из печати здесь, в Лондоне, и будет произведением, где я выступлю перед публикой с поднятым забралом, назвав себя полным именем. Другому издателю я обещал написать кое-что о свободе плаванья по Шельде в смысле, благоприятном для голландцев, взимающих, по своему столетнему договорному праву, пошлину у устьев Шельды и тем отрезающих австрийцев от моря. Гонорар, конечно, будет не велик, но это сочинение мне поможет приобрести много друзей в Лондоне и Париже. И вообще, Иетт-Ли, голова моя кишит литераторскими проектами, которые должны принести свои золотые плоды. Для меня безразлично, что написать. Будь это география или китайская грамматика – все равно, но работать я хочу и буду. Секретарь Гарди сидит там в кабинете и должен целыми днями делать извлечения из книг и журналов, которые мне необходимы для особой цели. Вот видишь, все это должно иметь успех, и издатели будут меня скоро осаждать самыми блестящими предложениями.

Генриетта, уже готовая для прогулки и утвердительно покачивая головой при его последних словах, подошла к нему ближе, чтобы дать посмотреть на себя, в ожидании его приказаний.

– Идем, – сказал он, целуя ее руки и долго глядя на нее. Его взгляд, казалось, вновь оживлял всю ее прелесть и красоту; щеки покрылись нежным румянцем, а когда она оперлась на его руку, то почувствовала, как будто и силы возвра-

щаются к ней.

Они направились сначала по главным улицам Лондона, вид и характер которых возбуждали удивление Мирабо, в то время как Генриетта делала сравнения с Парижем и Амстердамом.

— Здесь я буду себя чувствовать отлично, — сказал Мирабо, — потому что куда ни посмотришь, везде видно довольство, чистота и человеческое достоинство. Здесь, на улице, невольно чувствуется, что находишься в стране, где народ есть нечто, и что каждый человек может свободно развивать и применять свои способности. Посмотри только на эти великолепные тротуары, доказывающие, что тут занимаются и теми, кто пешком ходит. А эти громадные пространства, не имеющие себе подобных ни в одном городе старого света! А эта удивительнейшая чистота! Да, Лондон величественный город! Каждая черепица на кровле говорит нам, что здесь живет собрание людей, управляющих собою собственною силою воли. Хотя в этом из кирпича построенном городе мало видно блестящих и выдающихся своим стилем домов, но величие его заключается в разлитой повсюду идее национальности, благодаря которой все так удобно и уютно, надежно и самостоятельно. И, как символ этого величия, волнуется гордая, чудная Темза, как бы принимая поклонение всякого, кто смотрит на нее, спрашивая: «С чем посмете вы меня сравнить, меня, которой ежедневно океан и все миры приносят дань свою».

– Я скоро начну ревновать к этому Лондону, – сказала Генриетта, прижимая руку Мирабо. – Не могу вынести, когда ты так страстно превозносишь что-нибудь на свете, будь это хоть стены и камни города.

– Да ведь в Париже тебя самое принимали за англичанку, – смеясь возразил Мирабо. – Во время наших прогулок по бульварам я часто слышал фразу, звучавшую тебе вслед: «Ах, посмотрите на эту красивую блондинку-англичанку!» Скоро, впрочем, и ты будешь иметь возможность потешаться надо мной, потому что, если и дальше будет мне здесь так хорошо, то в один прекрасный день вместо Гонорэ-Габриэля Рикетти графа Мирабо окажется в высшей степени почтенный Жак Росбиф! Тогда уже, конечно, я буду потерян для Франции. Впрочем, едва ли когда-либо удастся мне быть полезным этой проданной своему двору стране.

– Однако что-либо подобное прекрасным парижским бульварам едва ли можешь ты мне показать в Лондоне, – сказала Генриетта в то время, как они поворачивали на Регент-стрит и очутились среди поразительного, подобного торжественному шествию, оживления этой улицы, переполненной целыми толпами пешеходов и самыми разнообразными один возле другого движущимися экипажами, без малейшего, однако, нарушения удивительного порядка и спокойствия.

– Здесь лучше, чем на парижских бульварах, – возразил Мирабо, указывая на это движение с такой ясной и доволь-

ной улыбкой, какой его спутница давно уже не видала у него на лице. – Здесь виден народ, видна целая здоровая нация, которая в своем стремлении жить катится подобно потоку, повинующемуся лишь собственным законам движения. В Париже, дорогая графиня Иетт-Ли, пока еще нет народа. Впереди то время, когда мы из мутной, лишенной физиономии пресмыкающейся массы сделаем народ, который будет знать свои права и благодаря этому станет живым и способным к жизни существом. То, что ты видишь на бульварах, это не народ, это лишь пестрая кожа змеи, подстерегающей минуту, когда одним взмахом хвоста она перевернет весь Париж.

– Но на меня толпа поглядывает здесь так дико и язвительно, – заметила госпожа Нэра после некоторого молчания, боязливо прижимаясь к Мирабо.

В эту минуту кучка простых людей, между которыми было несколько пьяных матросов, прошла мимо них. По выражению их лиц и по жестам Генриетта заметила, что они обратили на нее внимание и находили в ней что-то странное.

– Как видно, в Лондоне меня не желают признавать такой хорошей англичанкой, как делали это еще недавно на бульваре в Париже, – сказала Генриетта, обращая внимание Мирабо на возбужденное ею любопытство. – Подозреваю, что всему причиной мой парижский туалет. В особенности должна их поражать моя громадная шляпка с перьями.

– Пойдем спокойно дальше, – сказал Мирабо, – туалет же

твой мы еще сегодня заменим прекраснейшим образом. В этом отношении народ здесь глуп. Над всем чужестранным он простодушно смеется и думает, что имеет на это право, чувствуя себя в своей собственной коже таким уверенным и обособленным. В этом случае парижанин цивилизованнее и не выказывает так явно своего ребячества.

Они шли дальше, и Мирабо не замечал, что из этой несколько шумной группы людей, считавшей своим долгом потешаться при виде Генриетты, несколько шутников, отделившись и повернув назад, со всевозможными ужимками и восклицаниями, возбуждавшими громкий смех остальных, проскользнули вслед за ними.

Генриетта, начинавшая все более бояться, убедительно просила взять фиакр. Мирабо стал теперь тоже замечать увеличивающуюся толпу, однако находил, что это будет трусостью – внезапно обращаться в бегство.

В эту минуту они повстречались с господином и дамой, в которых узнали спутников по переезду морем из Франции в Англию. Это были ирландец и парижанка, по всей вероятности, увезенная своим спутником. Во время путешествия она была так мила и умна, что Мирабо с удовольствием познакомился и разговаривал с нею.

Пока, остановясь на улице, они обменивались любезными приветствиями и взаимными расспросами, странные уличные субъекты, сопровождавшие Мирабо и Генриетту, нашли, казалось, новый и еще больший повод для своих насме-

шек. Парижская дама, следуя господствовавшей в столице Франции моде, имела тоже на голове громадный пук перьев; костюм же ее представлял для английской уличной публики еще более странностей, чем костюм Генриетты.

Окружившая свои жертвы толпа стала выражать опасное настроение сперва сдержанным говором и шепотом, а затем громким смехом. Потом из толпы выделился дикого, полусумасшедшего вида человек; с большой трубой и с кривляньями пьяного приблизился он к обеим дамам, с испугом глядевшим на него, и каким-то очень забавным комплиментом, обращенным к ним, вызвал радостные восклицания своих товарищей.

Это был, как видно, известный всем шут из одного из находившихся в соседних маленьких улицах кабаков; звали его почтительным именем «лорда-трубача», что, кажется, было его прозвищем. Слава его как комика была, по-видимому, также велика, потому что теперь настала тишина в ожидании того, что он намерен предпринять.

А лорд-трубач вступил в свою роль, делая невероятные гримасы почти прямо в лицо обеим дамам. Эти гримасы, в которых он был настоящим виртуозом, так характерно и точно изображали странные наряды и в особенности головные уборы дам, что этой карикатурой был сразу произнесен над ними приговор. Вслед за этим, при общем веселии, он вдруг заиграл на своей трубе, как бы желая звучной фанфарой возвестить всей улице о сделанных им наблюдениях. Повторив

это несколько раз, он довел толпу до оглушительных возгласов одобрения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.